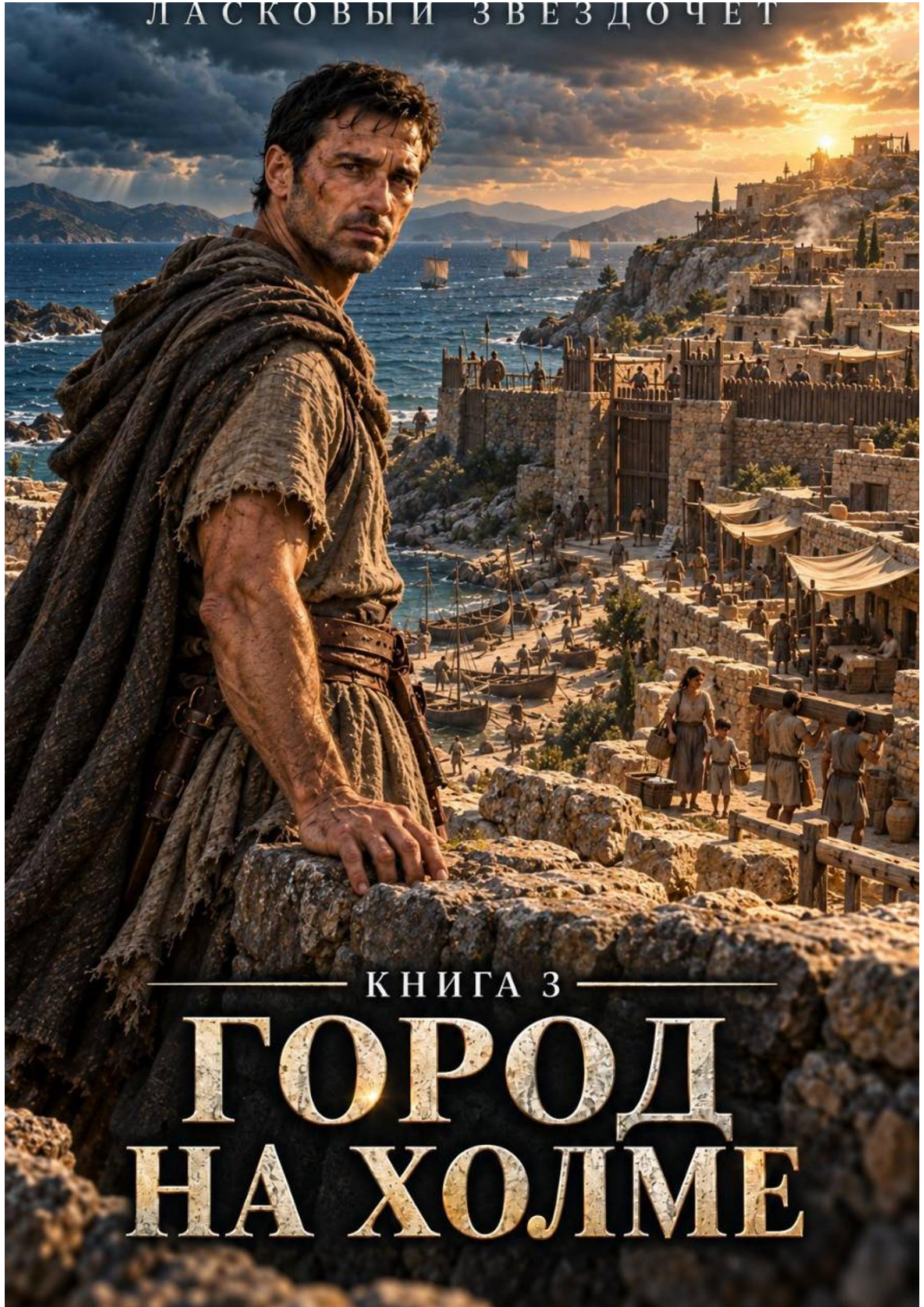


ЛАСКОВЫЙ ЗВЕЗДОЧЕТ



КНИГА 3

ГОРОД НА ХОЛМЕ

Ласковый Звездочёт

Город на холме. Книга 3

«Автор»

2026

Звездочёт Л.

Город на холме. Книга 3 / Л. Звездочёт — «Автор», 2026

Боевой пловец. Офицер разведки в запасе. Гражданский контракт: ночное обследование странной гидроакустической аномалии в Эгейском море. Последнее погружение. В обоих смыслах. Он приходит в себя на берегу, которого нет ни на одной карте. Солнце стоит высоко — а в воду он вошёл в двадцать три сорок. Это первое, что не сходится, и он не позволяет себе на это смотреть. После кислородного голодания мозг врёт первым, а тело вторым, поэтому сначала счёт: пальцы, кисти, локти, шея, колени, ступни. Потом — вслух, полностью, по форме: Корсаков Глеб Андреевич. Военно-морской институт, Санкт-Петербург, выпуск две тысячи двенадцатого. Северный флот, Полярный. Позывной «Корсак». Капитан третьего ранга. Всё сошлось. Не сошёлся только мир вокруг. Двенадцать лет службы никуда не делись — они и вытащат его с этого берега живым. Но звания здесь нет, флота здесь нет, и человека по имени Корсаков здесь тоже нет. В каждой главе приводит фрагмент уникальных знаний, которые помогли ему выжить.

© Звездочёт Л., 2026

© Автор, 2026

Ласковый Звездочёт

Город на холме. Книга 3

Глава 1 "Третий день"

Глава 1. Третий день

Срок в три дня придумал не я. Его придумала посуда.

Воду мы везли в бурдюках и горшках, и посуды этой набиралось на пятьсот черпаков с небольшим, если считать всё, включая треснутое и связанное бечевой. Сколько я ни перекладывал груз по лодкам в последние дни мая, больше трёхсот двадцати черпаков в лодки не входило: остальное место занимали люди, семена, известковое тесто, домашняя утварь и две козы, которые весили как четыре человека и вели себя как сорок. Черпак — это мера Пияссы, глиняный сосуд с зарубкой по внутреннему краю; полный его поднимают одной рукой и несут, не переливая, и воды в нём ровно столько, сколько взрослый выпивает за сутки в жару, если не бегает по солнцу. Триста двадцать черпаков на сто четыре головы — это три дня по черпаку на человека и немного на дне горшков, если не жадничать в первый вечер.

На кругу Кинт спросил прямо, как он спрашивал всегда:

— А если воды там нет?

Сидело дворов сорок, и половина из них не шла с нами никуда, и всем им было интересно.

— Тогда на третий день грузимся и уходим обратно.

— Обратно куда?

— Сюда. К тебе на берег.

Он подумал, повертел в пальцах обломок бирки, который держал всё собрание, и положил его на колено.

— Я тебя не звал обратно.

— Я поэтому и говорю сейчас, при всех, а не потом.

Он кивнул и больше к этому не возвращался, и это было хуже, чем если бы он спорил. А я потом три недели, пока мы вязали варду и делили дворы, носил в себе одно неприятное знание: срок я поставил не по воде и не по разведке, а по тому, сколько влезло в бурдюки.

Гуляев на четвёртом курсе говорил нам: срок, который вы назвали вслух, через неделю начинает жить отдельно от причины, по которой вы его назвали, и держаться люди будут за срок, а не за причину. Я это помнил и всё равно назвал.

Вышли шестого июня, высадились седьмого. Третий день пришёлся, стало быть, на девятое.

Первые два дня мы носили.

Между водой и тем местом, где мы собирались жить, было сорок минут вверх по колючке с грузом на плече. Бухта была хорошая: галька, песок, ровное дно без плит у самого уреза, вытяжка для лодок получалась сама собой. Всё остальное было наверху — ровная площадка под ветром, зелёная полоса на северном склоне и вид на два перехода в любую сторону, то есть всё, ради чего сюда стоило идти. Вниз — вода и лодки. Вверх — жизнь. Между ними склон, который к полудню нагревался так, что босиком через него шли только дети, и то не все.

За два дня мы подняли девять питт с известковым тестом, семена, обсидиан, четыре мешка ячменя и всё, что не могломокнуть. Обсидиана мы везли тридцать пять пластин, считая мелкие, — весь запас, какой был у меня и у дома Пинда, и это было всё, чем мы могли здесь заплатить за что бы то ни было. Три я носил в поясе, остальные лежали в ящике под кормовой банкой варды, и ящик этот выгружали при мне.

Питты были самым тяжёлым, что у нас было, и самым общим. Они не принадлежали никому. В них лежала наша будущая цистерна, то есть, если говорить прямо, наша вторая зима,

и я объявил ещё на Саринте, что их несут дворы по очереди, по жребии, и что ни одна не остаётся на берегу на ночь.

К полудню второго дня жребий дошёл до двора Туммо.

Туммо было лет сорок, он был коренастый, с короткими руками и низким лбом, с тремя своими детьми и одним восточным, и всю прошлую зиму на Саринте он делал ровно столько, сколько сказано, и ни горстью больше. Он сидел у своего навеса на камне и чинил сеть, продевая деревянную иглу снизу вверх коротким и очень ровным движением, и, когда я подошёл, он не встал и работу не отложил.

— Питта твоя.

Он посмотрел вниз, на гальку, где она стояла, потом на склон, потом опять в сеть.

— Мой двор своё поднял.

— Питты общие.

— Общее — это то, что делят. — Он сказал это не мне; он сказал это в сеть, но громко, так, чтобы слышали от третьего навеса, где сидели бабы с корзинами. — Тесто из этих горшков делить не будут. Его выльют в яму. А яму копают там, где решили не мы.

За полтора дня на пустом берегу у нас уже завелось место, где решили не они.

Навесы поставила Тисса, и поставила их накануне, пока я ходил по верхней площадке с Дессо и прикидывал по ветру, где печь, где дворы, где вода.

Я поднялся к вечеру и не нашёл своего. Своё стояло внизу, у края ровного, у трёх больших камней, и рядом с ним стояло ещё десять.

— Почему здесь? Наверху суше и выше.

— Наверху ветер.

— Ветер — это хорошо. Там нет мух.

Она сидела на мешке и обувалась: нагибаться она уже не могла и обувалась только сидя, выставив ногу вперёд и подтягивая ремешок двумя руками.

— Здесь двадцать шагов до тропы, по которой носят воду. И сюда можно втащить человека на циновке. А наверх нельзя.

— Кого втащить?

Она посмотрела на меня и не ответила, и я до сих пор не знаю, был ли у неё на это ответ или она просто не захотела его говорить вслух на второй день.

— Кто хочет наверх, пусть идёт наверх. Я встану здесь.

К полудню второго дня у трёх камней стояло четырнадцать навесов, и последние ставили те, кто с утра ругался, что снизу не видно моря.

С Туммо я разговаривать не стал.

Я мог. У меня к тому времени хватало слов на всё, кроме тонкого, и я умел говорить так, чтобы человек при свидетелях оказался неправ, — за год на Саринте я этому выучился и знал за собой эту способность, и она мне нравилась. Но было за полдень, склон жарился, а питта стояла на гальке, и всякая минута разговора стоила ровно столько же, сколько минута подъёма, только не давала ничего.

«Товарищи курсанты. Человек отказался работать — у вас два пути. Первый: доказать при всех, что он неправ. Вы выиграете и получите человека, который теперь при всех неправ и будет это помнить дольше вас. Второй: сделать его работу самому и молча. Второй дорожке вам и дешевле делу. Выбирайте не по тому, кто прав, а по тому, сколько вам ещё с этим человеком жить».

Гуляев, третий курс, работа с личным составом. Апрель, окна настежь, за окном кто-то бесконечно заводил и глушил машину.

Я снял верхнюю рубаху, намотал на плечо и пошёл вниз.

Питта в рост ребёнка. Пустая весит как мешок ячменя, с тестом — как два. Её не носят на плече: её носят вдвоём на жерди, продетой в ушки, и всё удовольствие в том, что жердь

пружинит, а груз живой и норовит качнуться в сторону склона. Со мной взялся Дессо — молчаливый мужик из дома Пинда, который прошлым летом на Саринте сорок дней вынимал яму под цистерну и знал про землю больше меня. Он всё делал медленно и за год не сказал мне ни одного лишнего слова.

На середине подъёма нас догнал Ландо.

— Вторым пойду я.

— Дессо идёт вторым.

— Дессо пойдёт третьим, — сказал Ландо и взялся за жердь, и Дессо отпустил.

Ландо лез первым везде, где можно было лезть первым. Ему было двадцать четыре, у него была жена Касси, двое своих детей и один взятый, восточный, мальчишка лет восьми, который ходил за ним хвостом и таскал корзину. На Саринте он полгода носил камень на обвод, а зимой мазал цистерну, и шёл он с нами не потому, что верил мне, а потому, что вложил в это дело спину и хотел смотреть, чем кончится. Я это про него знал и пользовался этим так же, как пользуются всяким, кто первым берётся за лопату.

Мы подняли три питты до темноты. На второй у меня стёрло плечо до крови, и я пере-
кладывал жердь на другое и всю дорогу считал шаги — иначе останавливался бы каждые два-
дцать. Мимо навеса Туммо прошли с грузом сначала мы трое, потом двор Марры, потом двое
подростков с корзинами. Никто ему ничего не сказал. Он чинил сеть.

Я в тот вечер записал на плитке одно слово — «жребий» — и поставил рядом черту, собираясь придумать, что с этим делать, к концу недели.

Придумывать пришлось раньше и не про то.

Наверх я поднялся до рассвета, в темноте, и ждал света, сидя на камне у раскопа.

Склон здесь длинный и пологий, весь в колючке, и только поперёк него, ниже вершины примерно на треть, идёт полоса другой травы — шагов восемьдесят в длину и десять-пятна-
дцать в ширину. Зелёная в начале июня, после двух недель без дождя. Из-за этой полосы я
и привёл сюда сто четыре человека, и до вчерашнего полудня она была единственным основа-
нием для всего, что мы сделали.

Вчера мы её вскрыли. Сняли дёрн на трёх шагах, копали до полудня и добрались до
влажного: не до воды — до земли, которая пачкала ладонь и держала след пальца. К вечеру в
яме, выкопанной по колено, стояла муть на два пальца. Люди поднимались смотреть на неё весь
вечер, по двое и по трое, и уходили молча, и внизу, у костров, об этом говорили тем особым
ровным голосом, каким говорят, когда очень не хотят сглазить.

Я сидел над ней в темноте и понимал, что это ещё не вода. Вода — это сколько в сутки. Всё остальное — пятно на склоне и влажная земля в горсти.

Копать начали, как рассвело. Копали шестеро, и главным над ними я поставил Дессо, и он всё время трогал стенку раскопа ладонью, будто грел.

Я искал источник, и искал его так, как его ищет человек, выросший на водопроводе: я всю жизнь представлял себе воду в земле трубой, которая где-то внизу течёт, и надо докопаться и пробить. Поэтому я велел углубляться. Мы шли вниз и в склон, подрезая стенку, и к четвёртому часу у нас была выемка по грудь с отвесной задней стенкой, в которую я упирался взглядом и ждал, что вот-вот из неё ударит.

Из неё не ударяло. Она мокла — везде одинаково, по всей плоскости.

Дессо выпрямился, посмотрел на эту стенку и потрогал её сверху, там, где дёрн нависал козырьком.

— Завалить бы откосом.

— Сколько по времени?

— Полдня.

У меня было полдня на всё: на воду, на разведку берега и на разговор, который предстоял вечером. Я посчитал это и решил, что полдня на безопасность мы себе позволить не можем, и

это было единственное решение того утра, которое я обдумал как следует и всё равно принял неверно.

Обвалилось около девяти утра.

Я стоял наверху, шагах в пяти, спиной, и видел не обвал, а то, как у стоявшего напротив меня человека изменилось лицо. Звук был несерьёзный: не грохот — шорох, как если мешок ссыпает с борта в воду. Стенка сошла целиком, куском в полтора шага, вместе с дёрном, и легла на дно выемки, и в ней был камень — плоская плита в ладонь толщиной, которую мы утром обкопали сверху и оставили: она держалась.

Ландо был внизу. Его накрыло по пояс, а ногу ниже колена взяло между плитой и дном.

Первым в яму прыгнул его мальчишка, и первым делом я его оттуда выкинул: взял за шиворот и передал наверх, и он потом орал и рвался, и его держали вчетвером.

Ландо не кричал. Он сказал что-то короткое и непонятное, и Дессо ответил ему таким же коротким, и оба замолчали.

Я спустился и трогал землю вокруг него руками. Плиту поднимать было нельзя: она лежала косо и держала на себе то, что ещё не сошло. Тянуть его тоже было нельзя: нога сидела плотно, и, если тянуть, мы снимем с него мясо и не вынем. Значит, копать — не над ним и не под плитой, а сбоку, руками, и выбирать землю из-под ноги, пока не станет пусто.

— Двое наверх, на край. Смотреть на трещину. Поползёт — кричать, а не показывать.

— Кричать что?

— Что угодно. Хоть имя своё.

Двоих я поставил подавать жерди и камни и подпирать плиту по мере того, как из-под неё уходит земля.

— Не поднимайте. Подпирайте. Если она сядет глубже, мы его здесь и оставим.

Остальных я выгнал наверх: в яме на четверых места нет, а людей вокруг собралось уже человек тридцать, и все они очень хотели помочь.

Мы вынимали его час с четвертью. Я считал. Это единственный способ, который у меня есть, чтобы не делать в такие минуты глупостей: я считаю про себя ровно, от одного, и, если сбиваюсь, значит, тороплюсь, и надо остановиться и посмотреть вокруг. Я сбился дважды. Первый раз — когда под пальцами у меня пошла сухая сыпучая мелочь и я понял, что выбираю не из-под ноги, а из-под себя. Второй раз — когда он начал кричать.

Кричать он начал примерно на середине, когда из-под ноги ушла земля и вес перешёл на кость. Кричал нехорошо, высоко, и наверху от этого крика заплакали дети, и кто-то их увёл.

Касси стояла у края всё это время и не сказала ни одного слова. Один раз она присела на корточки и спросила — не меня, а вообще, вниз, в яму:

— Вы его вынимаете или вы его откапываете?

Дессо, не поднимая головы, ответил:

— Вынимаем.

Она кивнула и встала обратно.

Вынули мы его в начале одиннадцатого. Голень была цела снизу и сломана выше щиколотки — не поперёк, а косо; кожа держала, крови почти не было, но ступня висела неправильно, и вокруг всё набухало на глазах. Мы вытянули ногу, пока он был ещё не в себе от того, что его вынули, приложили две расщеплённые жерди и увязали мокрой бечевой, и вниз его несли на циновке, натянутой на два весла, восемь человек, меняясь, — тропа была скверная. На левое ухо он с того утра слышал плохо и до конца жизни так и слышал: в яме ему забило его землёй, и, когда промыли, оно не открылось.

Его пронесли мимо верхней площадки и поставили не там, а внизу, у трёх камней, под четвёртым навесом от края — на том самом месте, куда Тисса накануне велела ставить: сюда можно втащить человека на циновке.

Я поднялся обратно к яме.

Обвал завалил мокрую стенку, и всё, что сочилось со вчерашнего дня, перемешалось с обрушенной землёй. На дне стояла глиняная каша, в которую мы вдобавок час лазили ногами. Не муть на два пальца — жижа. Отстаиваться ей было двое суток, и отстаивать её было не в чем.

Дессо сел на край, посмотрел на всё это и сказал вторую свою фразу за утро:

— Тут копать нечего.

— Почему ты молчал?

— Я не молчал. Я сказал про откос. Ты спросил про время.

Это было справедливо. Обижаться было некогда: внизу, у костров, в этот самый час кончилась вода.

Кончилась она честно, по расчёту, к полудню третьего дня — ровно так, как я считал в мае. Плохо было не то, что она кончилась, а то, что она кончилась в тот самый час, когда сверху пришли люди с носилками и слух о том, что ямы больше нет.

Ссора случилась у посуды и вышла из ничего, как все настоящие ссоры.

Горшков у нас было мало. Питты все девять стояли с известковым тестом, и трогать их было нельзя ни при каких обстоятельствах. Бурдюки лежали пустые и вонючие: их надо было заливать, чтобы не рассохлись, а заливать было нечем. Оставались горшки, мерный сосуд, привезённый Пияссой, и то, из чего едят.

Марра, у которой трое малых, взяла два горшка и понесла к своему навесу — в тень, под будущую воду.

— Поставь, — сказала Касси.

— Поставлю. У себя.

— У меня человек с переломанной ногой. Его трясёт. Ему пить.

— У меня трое, и они с утра не пили.

— Твои ходят.

Марра поставила горшки на землю, но не отпустила их.

— Мои ходят. Твой три дня назад тоже ходил.

Касси встала, подошла и взяла горшок за венчик, и Марра его не отдала, и они подержали его вдвоём секунды две, и он упал и, разумеется, разбился — он был из тех, что мы везли в соломе полтора дня по морю.

Я пришёл на это с руками по локоть в глине и, честно скажу, собирался орать.

Орать не пришлось. Насса подошла раньше меня, посмотрела на черепки, потом на обеих и сказала — громко, на весь берег, тем ровным издевательским голосом, который у неё появлялся всегда не вовремя и всегда к месту:

— Ну вот. Теперь ещё на один меньше.

И, пока они на неё оборачивались, собрала всю посуду, какая была на виду, снесла в одно место под скалу, в тень, и села рядом.

— Стоит здесь. Никто не трогает. Кому надо — приходит ко мне.

— По какому праву? — спросил кто-то от костров.

— По тому, что я сижу, а вы ходите.

Ей было двадцать лет, и за всю прошлую зиму она сказала мне четыре фразы. Я не давал ей этой работы. Она её взяла.

Последнюю воду раздавали при всех, и я на этом настоял. Можно было раздать по навесам и не собирать людей; я решил наоборот — пусть смотрят, как это кончается: через час всё равно узнают, а узнать лучше от меня.

Насса наливала. Черпак на человека, детям по полчерпака и второй половиной их допайвали из общего. На дне осталось меньше, чем я считал: двое суток на жаре бурдюки берут своё.

Я дождался, пока дойдёт очередь до последнего двора, и сказал: что ямы наверху больше нет, что она засыпана обвалом и что вода, которая в ней стояла, стала глиной; что Ландо жив, нога сломана и он будет ходить; что обещал я три дня и что три дня — сегодня.

Люди стояли тихо, и я успел подумать, что обойдётся.

Потом старуха из дома Тавы спросила громко, ни на кого не глядя:

— Ты сказал: три дня и назад.

— Сказал.

— Вот и три дня.

Туммо не сказал ничего. Он встал, пошёл к своему навесу и начал снимать циновки. Он делал это спокойно, как делают работу: снял, скатал, увязал, вынес к тропе два мешка и сел на них, и дети его сидели рядом, и жена его стояла и смотрела, и я видел, что она этого не хочет, и видел, что она не скажет.

К нему никто не подошёл. Все ждали, что подойду я. Я не подошёл: если я сейчас пойду его уговаривать, то через полчаса буду уговаривать всех, и уговаривать буду тем, чего у меня нет.

Вместо этого заговорила Тисса.

Она стояла у скалы, рядом с Нассиной посудой, и держалась рукой за поясницу — стоять ей было тяжело: рожать она собиралась через ветер, а живот у неё был уже такой, что нагнуться она не могла.

— Что будет сделано до темноты?

Я начал говорить про завтра.

— До темноты.

Берег молчал и слушал не меня, а её, и вопрос был поставлен правильно, потому что на «завтра» у меня было сколько угодно слов, а на «до темноты» — только дела.

Я назвал три. Первое: вниз больше не копаем; идём по мокрой линии вдоль склона и ищем, где она выходит сама. Второе: двое идут со мной вокруг мыса, и мы смотрим берег на переход в обе стороны — не на предмет красоты, а на предмет воды и людей. Третье: посуда остаётся у Нассы, счёт остатка ведёт она, и, если кто-то думает, что ему дадут второй черпак мимо неё, пусть думает дальше.

Тисса села.

Туммо со своих мешков сказал — довольно громко, так, чтобы слышали:

— Подожду до темноты.

Он не ушёл и не остался. Он назначил себе срок и сел его ждать, и весь берег теперь знал, к какому часу смотреть на меня.

К Ландо я зашёл перед выходом. Он лежал под навесом, серый и потный, и уже понимал, что с ним. Мальчишка сидел у него в ногах и никого не подпускал, как собака.

— Что ты видел?

Он посмотрел на меня мутно и долго, и я решил, что не ответит, и уже собрался уходить.

— Я лежал лицом в воде.

— Где?

— В земле.

Я сел на корточки и дальше вытягивал из него это минут десять, по два-три слова, с остановками, подставляя ухо к правой стороне: левым он меня уже не слышал.

Когда стенка сошла, его накрыло, и лицо прижало к свежему срезу — к той плоскости, которая открылась под обвалившимся куском. И по этой плоскости шла вода. Не капала сверху и не поднималась снизу — шла вдоль, поперёк склона, тонко, по гладкому камню, и он час с четвертью лежал щекой в этой струе и глотал — отвернуться он не мог.

— Много?

— Как из горсти. — Он полежал. — Она шла не на нас. Она шла вбок.

Я взял с собой двоих. Первым — Кисто, двадцатилетнего племянника Марры, который лазил по камням как коза и был единственным человеком в нашем хозяйстве, за которого я не боялся на обрыве. Вторым — Туммо.

Я подошёл к его мешкам:

— Пойдёшь со мной.

— Зачем?

— Потому что вечером ты будешь говорить при всех. Я хочу, чтобы ты говорил о том, что видел сам.

Он подумал, снял с мешка младшего, поставил его на землю и пошёл.

Сначала мы поднялись к обвалу и разгребли его в том месте, где лежала голова Ландо. Там был камень — не плита, а плотный серый слой, шедший в склон с небольшим наклоном, и по нему, как по столешнице, вниз сползала земля. И на границе между камнем и землёй темнела полоса.

Я потрогал её и лизнул палец.

Мы прошли вдоль этой границы шагов на шесть в обе стороны, снимая только верхнее, и на всём протяжении она была одинаково мокрой. Два дня я рыл вниз сквозь ту самую полку, по которой всё это время текло у меня над головой.

— Смотри, — сказал я Кисто. — Вот серый. Вот земля. Вот между ними.

Он потрогал и понюхал пальцы.

— И что?

— Она не стоит. Она идёт вбок, пока не выйдет наружу. Значит, нам нужно место, где эта полка выходит: обрыв, промоина, щель, всё равно что. Лишь бы вода выходила сама и не в колючку, а в камень.

— А как понять?

— Смотрим на траву, смотрим на камень, смотрим, куда ходит скотина.

Козьих следов на этом склоне было столько, что я тогда обязан был спросить себя, чьи это козы.

Первое место нашёл Туммо, и оно было пустое. Шагов через триста, в складке, где склон подламывался, стояла густая зелень выше колена, и под ней была мокрая земля, и мокрая хорошо, на две ладони вглубь. Туммо сел на корточки и запустил в неё руку по запястье.

— Вот.

Кисто уже кричал сверху, чтобы несли лопату.

Я походил вокруг минут десять. Мокрое было пятном, шагов на восемь, и дальше вниз, куда вода должна была бы идти, всё было сухое и пыльное. Трава стояла та же, что на всём склоне, только гуще. А в ямке, которую я выковырял ножом, за то время, пока мы говорили, не набралось ничего: земля отдала на ладонь и больше не отдавала.

— Нет.

Туммо встал и вытер руку о бедро.

— Вода есть, а ты говоришь — нет.

— Вода есть. Сколько в сутки — нет. Это зимняя. Она лежит на глине с дождей, к июлю уйдёт, а к августу тут и зелени не останется.

— Ты это видишь?

— Я это считаю.

— Ты второй день считаешь. Ты вчера насчитал яму, и в ней теперь лежит нога Ландо.

Кисто наверху перестал кричать.

Я мог ответить и знал чем. И тогда же, на склоне, впервые подумал, что человеку, который меня не любит и всё-таки идёт со мной, врать нельзя даже интонацией.

— Мог насчитать и это. Пойдём дальше.

Он посмотрел на меня недобро и запомнил. Но пошёл он первым.

Расщелину нашли на исходе второго часа. Склон к северо-западу обрывался к морю уступами, и в третьем уступе, на высоте человеческого роста над узкой каменной площадкой, серый слой выходил наружу — та самая полка, рассечённая косой щелью. Из щели не текло. Из неё

сочилось: по трещине, по зелёному от мха камню, каплями, которые собирались и шли вниз тонкой нитью, и внизу, в вымоине, стояла вода. Она была чистая, с песком на дне, и пахла камнем.

Кисто сунул туда лицо и пил, как собака, минуты две. Туммо пил после него, потом сел на корточки и стал смотреть, как капает, и я видел, что он считает — не черпаками, а по-своему, но считает.

Я лёг, приложил ладонь к камню и провёл вдоль щели. Мокрое шло шагов на четыре, и по всей длине одинаково. Не точка. Линия. Линию можно перехватить.

— Там человек, — сказал Кисто негромко.

Он сидел выше нас, на уступе, шагах в двадцати, и сидел, судя по всему, давно: мужик лет тридцати, босой, в юбке из некрашеной шерсти, с ножом на поясе и с двумя козами, которые ходили по скале так, будто кто-то приклеил их к ней. Под скалой рядом с ним была расщелина, заложённая камнями, и из-под камней торчал край сети.

Я отдал Кисто своё копье и поднялся к нему один, без оружия и медленно.

Он не встал. Он сказал длинную фразу, из которой я понял слова «вода», «ваши» и «сколько». Говор у него был не наш: он глотал концы слов и половину звуков клал туда, где у нас их не бывает, и я в первый час разговаривал с ним так же, как в свой первый месяц на Саринте, — по одному слову, через предмет, показывая руками.

Я показал вниз, на наши костры, потом четыре пальца, потом ещё четыре, и понял, что он так не считает. Тогда я показал на склон:

— Люди. Много.

— Знаю.

Он сказал это спокойно, и до меня дошло, что он смотрел на нас, вероятно, все три дня.

Он ткнул подбородком в щель под нами.

— В жару она тонкая.

Дальше был торг, и торговался я плохо.

— Что у тебя есть?

Я достал из пояса одну пластину. Он взял, посмотрел на просвет, попробовал ногтем кромку и положил рядом с собой на камень, не убирая. Это значило, что разговор продолжается и что одной мало.

— Чья вода?

— Ничья. — Он подумал. — Коз.

Дальше он объяснял, и я собирал это минут пятнадцать: что здесь берут понемногу, когда пасут; что летом эта щель даёт мало и не прокормит даже одну семью, если жить рядом; и что вода, которой хватает, есть в соседней бухте, за мысом, где чаша в камне, и туда ходят лодки с двух берегов.

— Чья чаша?

— Валла.

Он сказал ещё что-то, чего я не понял совсем, повторил дважды, и во второй раз я разобрал слово «мать».

Я положил на камень вторую пластину.

— Отвезёшь нас туда сегодня?

Он посмотрел на солнце, потом на море, потом на меня.

— Сегодня — половина пути на вёслах против ветра.

— Отвезёшь — дам третью.

Вот тогда он встал. Я спросил, как его зовут. Он сказал: Каппо. Больше я о нём в тот день не узнал ничего и узнавать не собирался: он знал, где вода.

Мы спустились к площадке, и он показал, как здесь берут: не копают, а подставляют. Он снял три камня у подножия щели, достал из-под них глиняный черепок с обломанным краем,

вставил его в трещину под наклоном, и капель, которая шла по камню и растекалась, собралась в одну струйку и пошла в черепок. Он делал это много лет и, судя по лёгкости движения, делал не задумываясь.

Я сел и стал считать. Считал про себя ровно, как считают секунды, и смотрел, как наполняется вымоина, и на счёте «девятьсот» вода поднялась до второй отметины, которую я процарапал ножом на камне.

Пятнадцать минут на черпак. Четыре черпака в час. Девяносто шесть в сутки.

Я записал девяносто. Ночью у этой щели никто сидеть не будет и следить за черепком тоже, а всякий счёт, который я назову вслух, через неделю станет для ста четырёх человек законом.

Нам нужно было сто тридцать пять.

Кисто я отправил наверх. Он должен был взять Дессо, десять человек и все корзины, какие есть, и до темноты сделать на этой площадке две вещи: расчистить подход снизу, от воды, чтобы можно было подниматься с грузом, и уложить в вымоину гальку, чтобы вода фильтровалась и чтобы в неё не лазили ногами.

Туммо я велел идти с ним.

— Я пойду с тобой.

Он стоял у щели и держал руку под струйкой — не пил, просто держал, как держат под дождём.

— Хорошо.

Мы спустились к воде и столкнули чёлн. Грузили наспех и грузили неправильно: шесть бурдюков, два горшка, весло запасное, верёвка. Бурдюки были сухие и стояли колом, их надо было сначала размочить, а мочить было нечем, и я это знал и всё равно велел брать все шесть.

Гребцов взяли двоих из двора Марры, молчаливых и сильных. Туммо сел на нос. Каппо устроился на корме, свесив ногу за борт, и всю дорогу показывал рукой, где держать.

Вокруг мыса шли два часа. Ветер был верхний, ровный, в лицо, и мыс мы обходили мористее, чем мне хотелось: под самой скалой стояла толчея и чёлн в ней хлопал днищем. Я грёб вторым номером и думал, что на варде этот путь занял бы час, а при попутном — полчаса, и что варду гонять за водой мы не будем: варда — это всё, что у нас есть.

Бухта открылась сразу за мысом, и в ней было всё то, чего не было у нас: пологий песок, три дома с каменным низом и тростниковым верхом, четыре вытасенных и подпёртых чёлна, сеть, растянутая на кольях, загон из плитняка, дети, которые побежали от воды к домам, едва нас увидели, и мужик, который вышел из-под навеса и встал, сложив руки.

Берег не был пустым. Он был пустым только там, где мы высадились, и пустым он был потому, что там нет воды.

Чаша стояла выше домов, под скалой: выемка в камне, обделанная и обмазанная, в два человеческих роста длиной, перекрытая плитами, и между плитами — щель с деревянной крышкой. Сверху к ней шла канавка, выбитая в скале и подправленная глиной: зимой по ней в чашу сходила вода со всего верха. Я стоял и смотрел на неё, наверное, с полминуты, и Туммо стоял рядом и тоже смотрел. Это было ровно то, что мы собирались строить всё лето, и оно было сделано, и сделано давно, и, судя по подтёкам, подмазывалось каждый год.

Потом из дома вышла Валла.

Ей было лет пятьдесят. Невысокая, тяжёлая, с руками в старых рубцах от верёвки. Она посмотрела на нас, на чёлн, на бурдюки в чёлне — и первое, что сделала, это отругала сына. Ругала она его долго, громко и не стесняясь нас, и я из всего понял слова «сказал», «сам», «не твоё» и ещё одно, которое означало примерно «дурак», но короче и обиднее. Каппо стоял и молчал. Он был взрослый мужик с ножом на поясе, и он стоял перед матерью так, как стоят перед старшим.

Он взял плату за то, что ему не принадлежало.

Я достал третью пластину, подошёл и положил её перед ней на камень. Не ему.

Она посмотрела на пластину. Потом на меня. Потом сказала фразу, которую я не понял, и Каппо перевёл её на свой лад, а я понял его через раз, и в конце концов до меня дошло, что она спрашивает, сколько нас.

— Сто четыре.

Дальше был разговор, в котором я понимал две трети, и я до сих пор думаю, что две трети — это много для такого разговора.

— Нет, — сказала она.

Потом села на камень у чаши, велела принести воды нам, и нам дали пить, и пили мы первыми, до всякого торга, и было видно, что иначе у них не бывает. И начала объяснять, почему нет.

Чаша набирается зимой. Летом в неё не прибывает ничего. То, что в ней есть, — это всё, что у них будет до дождей, и в ней сейчас столько-то: она показала рукой на внутренней стенке уровень, которого я не видел, но который, очевидно, видели все местные. Здесь живут три дома, восемнадцать человек, и ещё скот, и ещё те, кто приходит с двух соседних берегов и берёт по договору.

— Сто четыре человека выпьют её до конца лета.

— Мне не нужна вся вода. Мне нужен недостаток.

— Сколько?

И вот тут я сделал единственную вещь, которой в тот день горжусь. Я не стал говорить «сколько дадите».

— Сорок пять черпаков в сутки. Не больше. У нас есть своя вода, её девяносто. Нужно сто тридцать пять. Разницу я прошу у вас, и прошу до конца июля, а к августу я должен найти, чем покрыть этот недостаток. Цистерна до дождей воды нам не даст.

Каппо переводил это долго, и по тому, как он переводил, я понял, что цифра «девяносто» произвела на него больше впечатления, чем всё остальное: он ещё перед выходом сидел у щели и видел, как я считаю.

Валла выслушала.

— Сорок.

Не сорок пять. Сорок. Она сказала это так, как говорят люди, которые уже посчитали, и я не стал торговаться, потому что с человеком, который считает, торгуются предметами.

Предметы она назвала сама.

— Ячмень. Мера за каждые сорок черпаков.

У нас было четыре мешка семенного и восемнадцать на еду, и я согласился платить из еды и считал в уме, на сколько дней этой еды хватит при такой плате, и ответ мне не понравился.

— Обсидиан. Двадцать пластин до конца лета. Вперёд — пять.

Третье она объяснила не сразу, и я решил, что не понял. Она показала на свою чашу — на трещину в обмазке у края, длинную, заделанную глиной и тряпьем.

— Весной потекла. Мне нужен человек, который умеет класть белое.

— Белое?

Она сказала слово, которого я не знал, и потёрла пальцами, и Каппо показал на скалу, где был натёк.

Известь.

Она видела её на Наксе, куда её возили девчонкой, и знала, что бывает обмазка, которая держит воду, и знала, что её кто-то умеет делать, и не знала кто.

А у меня на берегу стояли девять питт с известковым тестом.

— Это тесто — наша цистерна. Если я отдам его на вашу чашу, мы умрём зимой, а не летом, и разница невелика.

— Значит, нет.

— Значит, не сейчас.

Дальше я говорил медленно, подбирая слова, и Туммо стоял рядом и слушал, как я отдаю за воду то, чего ещё нет.

— Мы будем жечь извесь. Своими печами, на своём холме, к весне. Я приду и обмажу вашу чашу сам, руками, и покажу вашим, как это делается. Это будет стоить вам ровно ничего. Я говорю это при вашем сыне и при своём человеке.

Она молчала довольно долго.

— А если ты уйдёшь?

— Если уйду — вернусь весной и всё равно обмажу.

Это была ложь ровно наполовину, и половина у неё была та, что я сам не знал, буду ли здесь весной.

Она посмотрела на меня, потом на Туммо — почему-то дольше, чем на меня.

— Сорок черпаков. Своей посудой. Брать после полудня, а не утром, потому что утром берут свои. Выше тропы не ходить. Коз не трогать. — И добавила: — Больше не проси. Даже если принесёшь много.

Наливались мы за полчаса и потеряли на этом пятую часть.

Сорок черпаков она отпустила при нас, и при нас же отсчитала их своим черпаком, который был чуть меньше нашего, и разницу я заметил и промолчал. Один бурдюк, сухой и не размоченный, дал по шву на первом же ведре: разошлось в трёх пальцах от горловины, и мы вылили из него в горшок то, что успели, а остальное ушло в песок. Я стоял и смотрел, как оно уходит, и считал, и получалось восемь черпаков.

Восемь черпаков — это восемь человек на сутки.

Долить она не дала, и я не просил. Она сказала своё «больше не проси» полчаса назад при семи свидетелях, и человек, который через полчаса просит, стоит дешевле, чем восемь черпаков.

Обратно шли час двадцать: ветер был в спину, чёлн сидел глубоко, и Каппо велел держаться ближе к берегу, и мы задели камень и ещё раз напугались.

Мы привезли тридцать два черпака.

Я записал на плитке весь рейс: вышли во столько-то, пришли во столько-то, шесть бурдюков, два горшка, один протёк, пятеро людей, четыре часа сорок минут, привезено тридцать два из сорока. Четыре часа сорок минут и пять человек — вот чего стоили тридцать два черпака. Это была первая строка нашего нового счёта.

На берег мы вошли уже в сумерках. Нас увидели издалека, и к воде спустились все, кто мог спуститься, и никто ничего не спрашивал, пока мы вытаскивали чёлн.

Потом Дессо сказал сверху, от тропы:

— Галька уложена.

И этого оказалось достаточно.

Людей я собрал у костров, когда совсем стемнело.

Перед этим я четверть часа просидел один у воды, и сидел там не за тем, чтобы решить. Расклад был простой, и я знал его наизусть ещё с чёлна: уходить было можно — варда цела, чёлны целы, груз поднят к навесам, разобрать навесы полдня, на Саринте примут, Кинт примет; и половина вернувшихся к осени как-нибудь устроится, а вторая половина будет зимовать по чужим углам и всё запомнит.

Я поймал себя на том, что перебираю не это. Я перебирал, как это будет выглядеть: как я схожу на гальку в бухте Калла, и наверху стоят сто двадцать семь человек, и Кинт спускается навстречу и не говорит ни одного слова о воде, потому что он никогда не говорит таких слов; и как Ниссо у плоского камня открывает свой шнур и начинает переписывать дворы обратно.

Я на отборе, в двенадцатом году, четверо суток жил на фляге в сутки, и главное, что я оттуда вынес, было не про воду. Там половина сходит не от жажды и не от ног, а от того, что не может представить, как будет сниматься при всех.

Поэтому я разложил себе вслух, по-русски, две вещи отдельно. Первое: уходить стыдно. Второе: уходить надо или не надо. На второе у меня впервые за трое суток был ответ, и ответ был арифметический, и я пошёл его говорить.

Я собрал всех, включая детей, и поставил так, чтобы слышали задние, и говорил медленно: на их языке я тогда ещё думал медленнее, чем говорил.

Я сказал, что обещал три дня, что три дня кончились сегодня и что говорю при всех, как обещал. Потом сказал, что у нас есть.

У нас есть выход на северо-западном уступе, в расщелине над морем, куда сегодня уложена галька и к которому расчищен подъём. Он даёт четыре черпака в час. Это девяносто в сутки, и ночью он не сядет.

У нас есть договор с соседней бухтой: сорок черпаков в сутки, своей посудой, после полудня, до конца июля. Плата — ячмень и обсидиан, и ещё одна работа весной, которую я обязался сделать руками. Сегодня мы привезли из этих сорока тридцать два, и восемь вылились в песок из сухого бурдюка, и завтра бурдюки будут размочены, и это первое, что будет сделано с утра.

Девяносто и сорок — сто тридцать. Нам, по-человечески, с готовкой и скотиной, нужно сто тридцать пять. Значит, с завтрашнего дня и до дождей — черпак на человека в сутки на всё: питьё, варка, стирка. Мыться в море. Коз поить из остатка, и если остатка не будет, коз придётся зарезать, и тогда мы их зарежем и съедем, а не будем неделю решать.

Потом я сказал то, чего они ещё не знали, и сказал не под конец, а в середине, чтобы не выглядело утешением.

— К концу лета щель сядет. На Саринте Амасса к сентябрю падала до четверти, и эта упадёт тоже. Всякий такой выход падает.

От костров спросили, что тогда будем пить, и я ответил то, что было правдой и что мне самому не нравилось.

— Тогда будем просить ещё и платить дороже. Цистерна нам в этом году не даст ни черпака. Цистерна воды не делает, она держит. До дождей она стоит пустая. Наполнит её ноябрь, и выпьем мы её следующим летом, и вот тогда нам не придётся ходить за мыс с бурдюками. Поэтому яма под неё начинается завтра с рассвета, а не осенью: если к первым дождям она не будет вынута и обмазана, мы потеряем всю зимнюю воду и следующего лета здесь не будет. И известковое тесто трогать нельзя никому и ни для чего, включая меня.

И сказал последнее.

— Эта вода держит сто четыре человека. Двести она не держит. Сколько она удержит на самом деле и можно ли здесь ставить большое место, я не знаю и сегодня сказать не могу. Я скажу это следующей весной, когда посмотрю, сколько соберёт первая цистерна и сколько сядет щель в сентябре.

Что мы остаёмся, я сказал в одну фразу и без нажима: к этому моменту это было уже очевидно всякому, кто слушал арифметику. И сразу добавил вторую фразу, которую готовил всю дорогу от мыса.

— Кто хочет уйти — уйдёт с августовской лодкой. Двор получает свою долю по счёту: своё зерно, свои семена, свою часть общего, кроме питт и кроме варды. Место в лодке даётся первым тем, кто с детьми. И тот, кто уйдёт, уйдёт без единого слова вслед — ни от меня, ни от кого другого, и это я проверю.

Первым заговорил Туммо, и заговорил он не со мной. Он повернулся к своим и сказал, что видел щель, видел, как чужой считает воду черпаками, и видел чашу в соседней бухте, которую люди обмазывают каждый год. Потом сказал, что первое мокрое место, которое нашёл

он сам, оказалось пустое, и объяснил почему, и объяснил, между прочим, правильно. А потом сказал:

— До августа посмотрю.

Он не сказал «остаюсь». Он сказал «посмотрю», и это было ровно то, чего стоил этот день, и большего я и не ждал. Мешки свои он к тому времени уже занёс обратно под навес; он занёс их, пока мы шли от мыса, и сделал это тихо, и весь берег это видел.

Вопрос был один, и задала его Касси. Она стояла с краю, от навеса, где лежал её муж.

— А если сядет раньше?

— Тогда мы уйдём с августовской лодкой, и уйдём не все сразу, а в два рейса. Первыми пойдут дети и те, кто не может грести.

— А ты?

— Я уйду последним. Привёл сюда я.

Она постояла, кивнула и села обратно к мужу.

Больше никто не возражал, и на этом всё кончилось: у них так решается всё — не голосованием, а тем, что перестают возражать. Люди разошлись по кострам, и через четверть часа у второго костра уже смеялись, а у третьего кто-то ругался из-за места.

Названия камням дали дети, и дали в ту же ночь.

Камней у нижнего края площадки было три. Первый, плоский и косой, на котором днём сушили и с которого можно было прыгать, назвали Стол: это было и по-нашему, и по-восточному почти одинаково, и спорить тут было не о чем. Второй, высокий, с выступом наверху, дети с востока звали Головой, а наши — Козой: на выступе всё время стояла одна из двух наших коз и обозревала с него море; они спорили про этот камень до темноты, потом подрались, потом их растащили, и к утру он назывался Козья Голова. Третий был просто большой и круглый, и у него не было примет. Его называли Ничей.

Я слышал этот спор от своего навеса и не вмешивался.

Мест для ночлега было мало: навесов четырнадцать на двадцать девять дворов, и половина берега устраивалась просто на циновках между камнями. Марра получила место в колючке, обнаружила это уже лёжа и высказалась о нём подробно. Насса ответила ей, что колючку можно выдрать, а характер нет. Они поругались в темноте минуты три. Старуха из дома Тавы храпела так, что дети собирались слушать.

Тисса не могла лечь. Она сидела, привалившись боком к мешкам, и в темноте я видел только, как блестят глаза.

Я взял два мешка и попробовал устроить ей спину, и устроил неправильно: подложил слишком высоко.

— Теперь у меня рёбра в горле.

Я переложил ниже.

— Теперь это просто мешок. Ты никогда не спал на мешках.

— Спал. И много.

— Оно и видно.

В конце концов мы свернули валиком циновку, подоткнули её вдоль спины, сверху положили мой плащ, и она легла на бок и сказала, что вот так — ещё хуже. Потом всё-таки затихла.

Я принёс ей первый черпак — тот самый, который набрался в мерный сосуд, пока я считал до девятисот. Она взяла его двумя руками и выпила половину. Вода была холодная, с привкусом камня, и у неё был ещё какой-то свой вкус, который я потом узнавал на этом холме и ни разу не смог описать.

Потом она отдала мне черпак обратно, недопитый.

— Отнеси Ландо.

— Ландо уже пил. Ему носят.

— Тогда отнеси кому-нибудь ещё.

Я отнёс — старухе из дома Тавы, которая приняла черпак, не переставая храпеть, что, как я потом выяснил, у неё получалось.

А когда я вернулся, Тисса сказала:

— Завтра первый мне не носи.

Я сел рядом.

— Почему?

— Потому что сегодня на это смотрели четверо.

Я собирался ещё раз подняться к расщелине — досчитать, сколько набежит за ночь, — иначе утром пришлось бы верить на слово самому себе. Она поймала меня за запястье.

— Утром.

— За ночь наберётся черпаков тридцать. Надо знать точно.

— За ночь наберётся ровно столько, сколько наберётся. А если ты сейчас уйдёшь, я встану и пойду с тобой, и вот тогда мы оба будем очень заняты.

Я остался.

Мы лежали молча, и я уже думал, что она спит.

— Я не знала, что спросить, — сказала она в темноту.

— Ты спросила правильно.

— Я спросила, потому что испугалась. Ты стоял и говорил про завтра, а Туммо сидел на мешках, и я подумала, что сейчас встанет Марра, и я не хотела, чтобы встала Марра. — Она помолчала. — Не делай из этого, что я умная. Я весь день сегодня просидела у посуды и ни разу не поднялась вверх. Боялась, что не спущусь.

Я не нашёл, что на это сказать, и не сказал ничего.

Она взяла мою руку и положила себе на бок, чуть ниже рёбер, и я держал её там, пока под ладонью не проехало — медленно, длинно, поперёк, как проходит под лодкой волна.

Внизу догорали четыре костра. Кто-то у крайнего ещё разговаривал вполголоса, и было слышно, как коза ходит по Козьей Голове и цокает.

Я лежал и по привычке считал — не воду, а просто считал, ровно, от одного, чтобы заснуть.

Дошёл примерно до четырёхсот.

Глава 2 "Люди из соседней бухты"

Глава 2. Люди из соседней бухты

Через четыре дня у нас был распорядок, и придумала его не голова, а вода.

До рассвета — цистерна: Дессо с двенадцатью мужиками вынимал яму на верхней площадке, в том месте, где камень шёл ровно и где я после долгих споров с самим собой решил, что сюда сойдёт сток со всего верха. После полудня — рейс к Валле: чёлн, четверо, пять бурдюков, размоченных наконец по-человечески, и два часа туда против ветра. Утром и вечером — раздача у скалы, где сидела Насса. Второго черпака мимо неё не получил никто; попробовали двое, и оба получили при всех такое, что желающих больше не нашлось.

Между этим — навесы, гряды, дрова, рыба.

Рыба была единственным, что нам здесь давали даром, и брали мы её с жадностью людей, у которых кончается ячмень. Ячменя оставалось восемнадцать мешков на еду и четыре семенных, и четыре я считал отдельно и не считал вовсе; восемнадцать на сто четыре человека — это не еда, это приварок к тому, что даст море, и всякий, кто держал в руках мешок и знал, сколько в нём горстей, понимал это без объяснений.

С рыбы всё и началось.

Сеть лежала под скалой в южном конце бухты, там, где галька уходит под нависший камень и где сухо даже в дождь. Она была заложена камнями, свёрнута правильно, грузила отдельно, поплавки отдельно, и пахла она не гнилью, а смолой и солью. Всякий, кто хоть раз

в жизни держал в руках снасть, должен был понять с одного взгляда, что вещь живая и за ней ходят.

Я узнал о ней последним и узнал в тот час, когда с ней было уже покончено.

Взял её Лаппо — четырнадцатилетний племянник Марры, тощий, с оттопыренными ушами, из тех мальчишек, которые бегают быстрее, чем думают. Он говорил потом, что нашёл её ещё когда мы только высадились, и что она лежала ничья.

Ставили её двое суток и ставили неправильно, потому что никто из наших не ставил ставных сетей на этом берегу и не знал, где здесь идёт рыба и на какой глубине лежат камни. На втором заходе её посадило на камень. Они тянули втроём с чёлна, чёлн черпнул бортом, кто-то испугался, и Кисто, чтобы не потерять ни сеть целиком, ни чёлн, сделал единственное, что приходит в голову человеку с ножом.

Он перерезал не полотно. Он перерезал верхнюю подбору — бечеву, на которой вся сеть висит и которая вяжется отдельно и дольше всего. Пока он резал, сеть потащило через камень, и полотно сорвало с подбору на добрых семь шагов, и ячея пошла лесенкой, и то, что они выволокли на берег, было уже не сетью, а кучей.

В этой куче оно и лежало сутки, пока к нам не пришли.

Пришли двое, и пришли пешком, поверху, а не морем; они знали тропу, по которой мы за шесть дней не поднялись ни разу.

Первым шёл мальчишка лет семнадцати, длинный и босой, в такой же некрашеной юбке, как у Каппо, с двумя связками поплавков на плече. Вторым, отстав на десяток шагов, шёл сам Каппо.

Мальчишка дошёл до скалы, отвалил камни, сунул руку под навес и замер. Потом выпрямился и закричал — не нам, а брату, навверх, длинно, и я из всего разобрал «нет» и «здесь».

Каппо спустился и присел над кучей. Он перебирал её минут пять — молча и аккуратно, распутывая, расправляя ячею на ладони, поднимая полотно на просвет, так, как человек осматривает свою вещь, а не так, как ищут повод. Потом нашёл конец подбору, поднял его и показал мне. Срез был чистый, косой и свежий, сделанный за один раз.

— Мы заплатим, — сказал я.

Я и сейчас считаю, что сказать это надо было. Я не считаю, что это надо было говорить первым, потому что первым оно прозвучало как «сколько стоит, чтобы вы ушли».

Каппо посмотрел на меня и стал объяснять брату, а брат — мне, медленнее и проще, помогая руками. Звали его Тирро, и он был первым человеком на этом берегу, который сам, без просьбы, стал говорить со мной так, чтобы я понял.

— Две зимы, — сказал Тирро и показал два пальца, потом обвёл рукой всё полотно. — Бабы. — Потом взял в руку обрезанный конец подбору и потряс им. — Это мать.

Он перебрал бечеву пальцами и остановился на узле, который сидел на ней не просто так.

— Метки. Тут камни. Тут песок. Она садится по метке.

Я попросил показать ещё раз, и он показал, и я насчитал на уцелевшем куске семь таких узлов и понял, что они стоят не через равное.

— Кто ставил метки?

— Мать. Потом он. — Тирро кивнул на брата. — Потом я.

— Сколько лет?

Он подумал и показал пальцами дважды по пять и ещё два.

Не в одном полотне была беда: его можно было починить за три дня. А подбора была не верёвкой. Семь узлов на уцелевшей части стояли, и от них можно было отсчитать дальше — Тирро показал мне это на пальцах, разведя ладони: вот отсюда до сюда, вот тут промежуток вдвое. Но там, где её протащило через камень и где она пошла петлями, узлы сбились и сползли, и половину сети предстояло сажать заново, и заново её могла посадить только та, кто

эти двенадцать лет мерила глубину шестом и знала, на каком метре под поплавком начинается плита.

Главного я не понимал ещё минут пять и понял только потому, что Тирро догадался показать на пальцах.

Он показал: солнце, солнце, солнце — и загнул. Потом ещё раз. Потом провёл рукой вдоль берега, снизу вверх, и хлопнул ладонью о ладонь.

— Три недели?

— Три. И всё.

Не «здесь всегда есть рыба», а: три недели в начале лета, и всё. То, что они возьмут за эти три недели, они сушат и солят, и на это живут до зимы, и этим же платят за то, чего у них нет: за зерно, за смолу, за глиняную посуду, за нож.

Мы порезали подбору на второй неделе хода.

Я стоял на гальке своей бухты и первый раз за шесть дней подумал не о воде. Я подумал о том, что за шесть дней не спросил у человека, который возит мне воду, чем он, собственно, живёт.

Гуляев называл это первым вопросом на новом месте: не кто здесь главный, а чем здесь живут. Главного вам назовут сами и в первый же день, а про хлеб придётся спрашивать, и спрашивать до того, как вы что-нибудь тут сломаете.

Корзину Тирро поднял на бедро при всех, не таясь и не торопясь, — так поднимают своё.

В ней лежала утренняя рыба, переложённая мокрой водорослью, из тех двух корзин, которые с рассвета не трогали, потому что солнце ещё не встало над скалой и в тени она могла полежать. Он понёс её вверх, к тропе, и по дороге сказал брату что-то короткое, и Каппо кивнул, не отрываясь от сети.

С их стороны это не требовало ни слова: рыба взята их сетью, сеть загублена нами, значит, рыба их. С нашей стороны от воды к тропе шёл чужой человек с нашей едой.

Кисто догнал его у первого поворота.

Я поднимался в это время от чёлнов с пустым бурдюком на плече и видел всё с тридцати шагов, и с тридцати шагов это читалось без вариантов: двое вцепились в корзину, корзина пошла по краю, лопнула, и рыба посыпалась на камни — крупная, скумбрия и ещё какая-то местная, плоская, которой я тогда не знал названия. Оба сели на землю. Кисто поднялся первым и ударил — коротко, плохо, в плечо, потому что бить в лицо ему было всё-таки неловко. Тирро толкнул его обеими руками в грудь, и от костров побежали наши, четверо, а сверху по тропе, бросив сеть, пошёл Каппо.

Я добежал первым. Это единственное, в чём у меня было тогда бесспорное преимущество перед всеми на этом берегу, и я двенадцать лет получал за него зарплату.

Кисто я взял за шиворот, развернул и толкнул в сторону костров — сильно, чтобы сел и посидел, — и успел сказать ему в затылок одно слово.

И в эту секунду справа, из-за камня, в двух шагах от моей открытой стороны, поднялся Каппо и завёл руку под мышку.

Дальше думал не я. Дальше работало то, что вбивают три года и потом двенадцать лет поддерживают на матах, пока оно не становится короче мысли: на двух шагах от руки, идущей к железу, назад не уходят. Назад — это открытая спина и его темп. Идут внутрь.

Я шагнул ему навстречу, поймал запястье и локоть, повернул и сорвал его с ног весом, а не силой — он был легче меня килограммов на двадцать, — и мы пошли вниз, и я развернул его в воздухе так, чтобы он лёг лицом. Галька под ним коротко хрустнула. Колено я поставил ему на шею, правую руку держал вывернутой вверх и назад, и под ладонью у меня был сустав, которому оставалось полдвижения.

Нож лежал в двух локтях, на свету. Он лежал рукоятью ко мне.

Тирро кинулся сзади с камнем, его перехватили и держали, и он орал, и я его не слышал. Я слышал только собственный счёт — тот самый, ровный, от одного, который включается у меня сам, когда некогда думать: рука держит; второй держат; на берегу два десятка наших и двое чужих; сломаю локоть — дальше с этим берегом придётся разговаривать только так и всегда.

И ещё одно, чего я потом стыдился дольше всего.

Мне было хорошо. Четыре дня я ходил по этому берегу и не мог заставить воду прибывать быстрее, ячмень — не кончаться, а Ландо — ходить, и всё, что я делал, я делал наполовину и с опозданием на сутки. А здесь, на гальке, в эти четыре секунды, всё снова стало простым и полностью зависело от меня.

«Товарищи курсанты. Работа, в которой всё зависит от вас, приятна. Запомните это слово — приятна, другого тут не подберёшь. Через год вы будете сидеть на участке, где от вас целиком не зависит ничего, и вас будет тянуть в ту единственную минуту, где зависело. Человек в такую минуту работает хорошо и решает плохо. Потому что решает он не задачу. Он решает своё облегчение».

Гуляев, четвёртый курс. Не на занятии — в коридоре, после зачёта, на котором я сломал партнёру палец и был этим доволен.

Я уже начал доворачивать.

Остановила меня Тисса, и остановила не тем, что закричала мне. Она кричала не мне. Она стояла шагах в шести, держась одной рукой за камень, — бежать ей было нельзя, и она всё равно бежала, — и кричала им, их словами, быстро и зло, и повторила одно и то же трижды, пока до меня доходило.

Из всего я разобрал два слова: «нож» и «дал».

Он не выдёргивал. Он подавал — вытащил свой нож, тот самый, которым полчаса назад показывал мне срез на подборе, и протянул рукоятку вперёд, чтобы я взял его и убрал. У них так старший прекращает драку между мальчишками: отдаёт железо первым.

Он сделал единственную вещь, которая здесь означает «я не дерусь». А я за неё едва не сломал ему руку.

Я разжал пальцы и отошёл на шаг, и сел на гальку, потому что стоять мне в эту секунду было трудно.

Он поднимался медленно: сначала на четвереньки, потом на колено, потом на ноги. Лицо в мелком песке, губа разбита о камень. Правую руку он держал левой, прижав к животу, и мизинец с безымянным на ней стояли не так, как стоят пальцы.

Я до сих пор не знаю, сломал я их доворотом или он сам, когда я клал его на землю и он попал рукой между собственным телом и камнем. Склоняюсь ко второму. Меня это не оправдывает: на землю его положил я.

Он посмотрел на руку. Потом на меня.

— Теперь я не тяну.

Он сказал это спокойно, буднично, без крика, и это была первая его фраза, которую я понял целиком, без Тирро и без Тиссы, до последнего слова.

Три недели хода. Двое мужчин в доме. У одного перерезана подборка, у другого не работает правая.

Я сидел на гальке и складывал это, и складывалось оно плохо.

Вокруг стояли наши и молчали, и молчали по-разному. Кисто сидел там, куда я его толкнул, держался за плечо, и по лицу его было видно, что правым он считает себя и что толкнули его зря. Марра стояла у развешанной рыбы и смотрела на меня так, как смотрят на человека, который только что сделал их жизнь дороже.

Тирро вырвался наконец, подобрал нож брата, собрал с камней рыбу — не всю, сколько влезло в подол, — и пошёл к нему. Наши расступились.

— Завтра приду в бухту, — сказал я Каппо.

Он не ответил. Он пошёл вверх по тропе, придерживая руку, и Тирро пошёл за ним, и за перегибом оба скрылись, и ни один ни разу не обернулся.

А за спиной у меня Насса громко, на весь берег, сказала:

— Ну вот. Теперь и рыбы нет.

В бухту мы пошли утром, и Тисса пошла со мной.

Я сказал, что не надо, и сказал это один раз, потому что уже знал цену такому разговору.

— Одному тебе туда нельзя. Там будут считать ущерб. Ты посчитаешь не то.

— Я умею считать.

— Ты умеешь считать черпаки. А там будут считать зимы.

Мы взяли чёлн, четверых гребцов и пустые бурдюки: за водой всё равно надо было идти, и я решил, что пойдём один раз, а не два, и что это будет единственная хитрость, которую я себе позволю.

Ещё мы взяли двадцать обсидиановых пластин, полмешка ячменя и три горшка. Горшки были наши, саринтского обжига, с косой насечкой по венчику, и целых таких у нас оставалось десять.

Нас ждали.

Не встречали — ждали, что не одно и то же: на песке у воды стояли и сидели человек двенадцать со всех трёх домов, и среди них были старики и дети, и это значило, что разговор будет при всех и что решать будут не с глазу на глаз.

Валла сидела выше, на камне у чаши, и вниз не пошла. Каппо стоял у своего чёлна; правая рука у него была примотана к дощечке — два пальца и кисть, — примотана хорошо, тряпкой с расщепленным лубом, и я понял, что здесь умеют это делать.

Тирро подошёл к воде и вытащил нам нос чёлна на песок, не глядя на меня. Это было первое доброе движение того дня, и сделано оно было так, чтобы не выглядеть добрым.

Тиссу высадили под руки, и, когда женщины увидели, какой у неё живот, что-то в бухте едва заметно сдвинулось. Её сразу увели наверх, в тень.

Я пошёл следом и сел там, куда мне показали, — ниже Валлы и сбоку. Я к тому времени уже понимал, что «где сесть» на этих берегах не бывает случайным.

Кормили нас первыми, до всякого разговора. Дали вяленую рыбу, лепёшку из чего-то тёмного и грубого, горсть оливок — мелких, горьких, солёных до онемения — и воду, и воду наливали из чаши не считая, хотя накануне торговались за каждые сорок черпаков. Тиссе отдельно принесли молоко.

У них нельзя разговаривать о долге с человеком, который у тебя не ел; пока ты не поел, ты гость, и с гостем считаются иначе. Поэтому они кормят первыми — и кормят даже того, кто накануне искалечил их сына. Я это тогда не знал и понял примерно через год, а в то утро просто сидел и ел под двенадцатью взглядами.

Валла ела вместе с нами и, пока ела, не сказала ничего. Потом отставила миску и начала считать.

Считала она вслух, при всех, загибая пальцы на левой руке и помогая правой, и каждый загнутый палец назывался словом, которое повторяли за ней двое-трое.

— Подбора. Две зимы. Двойная нить. Метки по месту.

— Полотно. Три дня, две женщины. — Она подняла голову. — Эти три дня не вычёркиваются из хода рыбы.

— Рука.

Тут она остановилась и сказала длинно, и Тирро перевёл мне, а Тисса поправила его перевод, и из двух переводов у меня сложилось: рука заживёт к осени, а тянуть сеть в этом ходу он не будет, а второй ещё мал, чтобы тянуть одному.

— Улов. — Она махнула рукой и не стала считать, и это было хуже, чем если бы посчитала.

— Корзина.

Обыкновенная корзина, порванная в драке, — и её она назвала наравне с двумя зимами работы и сломанной рукой, потому что корзину надо плести, а плести некогда.

Я выложил то, что привёз. Двадцать пластин легли на плоский камень, и на них посмотрели все, кто был в бухте. Обсидиан здесь резал всё: рыбу, верёвку, кожу, — и его у них было мало. Ячмень. Три горшка.

Валла посмотрела на это и не притронулась.

— Это не чинит сеть, — сказала она и построила фразу так, чтобы её понял чужой.

— Я дам людей.

— Людей, которые не умеют.

— Научите.

И вот тут она впервые посмотрела на меня по-другому — не как на источник неприятностей, а как на работника, которого прикидывают на дело.

— Кто придёт?

— Те, кто резал. И я.

Договорились так.

Пластины она разделила сама и разделила при свидетелях, и это была первая здешняя наука, которую я усвоил накрепко. Пять она отложила в сторону и сказала, что это те пять, что были обещаны вперёд за воду, и что они стоят в своей строке и в чужую не переходят. Остальные пятнадцать она взяла за подбору, за улов и за руку — и тут же сказала вслух, что из двадцати, обещанных за воду, зачтены только эти пять и что пятнадцать я должен ей до конца лета сверх всего, что лежит сейчас на камне.

Мне это показалось крючкомтворством. Теперь я думаю, что в то утро меня учили считать честно, и учил человек, который никогда в жизни не видел ни одного узла на шнуре.

Ячмень она взяла в счёт воды, мера за меру, и велела Тирро отнести его наверх и ссыпать отдельно.

Горшки отдала обратно.

— Горшки приносят в дом, а не в счёт.

И велела внести их в дом, и их внесли, и на этом они перестали быть возмещением и стали подарком, и за подарок нас поблагодарили отдельно, а счёт остался прежним.

Полотно чинят наши, здесь и у себя, под присмотром. Подбору вяжет Валла сама, и на это у неё уйдёт двадцать дней: двойная нить на всю длину, а потом — сажать полотно заново по тем меткам, которые уцелели, и промерять шестом то место, где они сбились. И все двадцать дней сеть не стоит, и никто мне этих дней не вернёт и не должен.

— А чем вы будете брать эти двадцать дней?

— Крючком, — сказала она. — С чёлнов. И малой сетью на мелком, где идёт мелочь. — Она показала двумя пальцами, какая мелочь. — Это не ход. Это еда на день.

А на место Каппо в ходе рыбы я даю человека — своего, на вёсла и на тягу, до конца хода.

— Дам двоих.

— Одного. Двоих кормить нечем.

Пока мы говорили, Тирро сидел в двух шагах и вязал. У них вообще все вяжут всё время: сидит человек, разговаривает, а руки идут. У него на коленях лежал кусок полотна, и он приращивал к нему ячею за ячеей в темпе, за которым я не успевал глазом. В какой-то момент он поднял работу и показал мне — не хвастаясь, а как показывают инструмент: смотри, у нас так.

Я взял и посмотрел. Узел был не наш; у наших на Саринте вязали проще, а этот держался иначе и не полз. Я попробовал повторить и не смог, и он засмеялся, и Валла, не поворачиваясь,

сказала ему что-то короткое и, судя по интонации, обидное. Он огрызнулся. Она сказала ещё. Он огрызнулся длиннее.

И тут же, не переставая переругиваться, она протянула руку и переложила со своей миски на его лепёшку кусок рыбы получше.

А Каппо, который всё это время сидел молча со своей примотанной рукой, забрал этот кусок у брата левой и съел, и Тирро завопил, и Валла засмеялась в первый раз за всё утро.

Смеялась она недолго. Потом посмотрела на меня и перестала.

Чинили на нашем берегу, у Стола — того плоского камня, на котором дети сушили и с которого прыгали.

Пришли двое: Тирро и двоюродная сестра Каппо, крепкая молчаливая женщина лет двадцати пяти, которая за весь день сказала слов десять и вязала вдвое быстрее брата.

От нас сели Кисто, Лаппо, две девчонки из двора Марры, восточный мальчишка Ландо — тот, что не отходил от отчима, — и ещё четверо детей, которых отогнали через полчаса, потому что они путали нить.

И я.

Я сидел там весь день, и руки мои стоили немного: в первый час я испортил больше, чем сделал. Сидел я потому, что на этом берегу стояло сто четыре человека, и всем им надо было увидеть своими глазами, что тот, кто их сюда привёл, чинит чужую сеть и что это не унижение, а плата. Показать это можно было одним способом — сесть и сидеть.

Работа оказалась тупая и злая. Сначала плотно расправляют и ищут разрывы, и каждый разрыв надо обойти по кругу, снимая порванные ячеи до целых, — то есть сначала ты увеличиваешь дыру, и все, кто смотрит, уверены, что ты портишь вещь. Потом наращиваешь обратно, ячею за ячеей, каждый узел — четыре движения. К полудню у меня болели три пальца, к вечеру я их не чувствовал, а на второй день на них лопнула кожа в тех местах, где нить идёт через сустав.

Тирро сначала смеялся. Смеялся он не зло — так смеётся всякий мастеровой над тем, как чужие держат его инструмент. Он показывал мой узел двоюродной сестре, она смотрела и молчала, он показывал девчонкам, девчонки хихикали. Один раз он изобразил, как я держу нить: оттопырил мизинцы и надул щёки.

Девчонки захохотали.

Кисто встал и ушёл.

Я нашёл его к вечеру у воды. Он сидел и точил о камень наконечник, которому это было совершенно не нужно.

— Чинить буду, — сказал он, не оборачиваясь. — Смеяться над собой не дам.

— Хорошо.

— И я не по дурости резал. Чёлн зачерпнул. В чёлне был Лаппо, а Лаппо плавает как топор.

— Я знаю.

— А они не знают.

— И не узнают. Потому что рассказывать им это буду не я. Это будешь ты, и завтра, и руками, потому что слов у тебя нет, как не было у меня в первый год.

Он подумал.

— Как?

— Покажи им камень. Возьми чёлн, вывези мальчишку и покажи, на какой камень села сеть. Они ставят её двенадцать лет и знают про этот камень больше тебя. Но они не знают, что о нём знаешь ты.

Он вернулся на второй день и сел на своё место. Смотрел он при этом мимо Тирро, и на третий день они с Тирро вдвоём ходили на чёлне промерять шестом глубину у южных камней — те самые промеры, которые потом лягут в новую подборку узлами, — и Тирро орал ему с

носа, а Кисто отвечал по-нашему, и понимали они друг друга, кажется, лучше, чем я понимал их обоих.

А двоюродная сестра Каппо в последний вечер, когда мы поднялись от камня, осталась сидеть и молча перевязала четыре моих узла. Она не сказала об этом ни слова и не посмотрела в мою сторону. Я постоял у тропы и пошёл наверх.

Лаппо признался на второй день, к вечеру. Он сидел, вязал, ронял, поднимал, и вдруг сказал — негромко, в сеть:

— Я не сам.

— Что «не сам»?

— Я её не сам нашёл. И не сам взял.

Он сказал, что тётка Марра ещё на второй день велела ему пройти берег и посмотреть, что тут есть под скалами, и сказала при этом, что лежащее без хозяина — ничьё, а у неё трое малых и на воду уходит ячмень. Он сказал это при всех, кто сидел вокруг Стола, и сказал не для того, чтобы свалить: так говорят мальчишки, которые двое суток носят в себе и не выдерживают.

Тирро, конечно, ничего не понял: он говорил по-своему. А наши поняли все.

К тому часу, когда я пошёл искать Марру, она уже знала, что я иду. Она не отпиралась.

— Велела. И ничего дурного тут нет. Была бы чья — хозяин пришёл бы и забрал. А он пришёл через три дня. За три дня мало ли что.

— Почему ты не сказала мне?

— А ты бы разрешил?

— Нет.

— Вот.

Она стояла, вытирая руки о подол, и смотрела не на меня, а куда-то мне за плечо, и заговорила дальше сама, чего я не ждал.

— На Саринте у меня был угол, три горшка и рыба, которую ловил муж. Здесь у меня трое малых, полчерпака воды на каждого, а племянники всё время на общей работе. Я это всё посчитала ещё в мае.

— И всё равно поехала.

— Ты сказал: будет земля.

— Земля будет.

— А сегодня — рыба, — сказала она и пошла к своему навесу, и я остался стоять, и стоял, кажется, дольше, чем следовало.

Огород мы заложили ещё на четвёртый день, на ровном месте к северу от площадки, где земля была глубже и не такая каменистая. Вскопали два больших куса и один маленький, разбили гряды, высадили лук, который вёз каждый второй двор, кинули бобы, воткнули черенки — словом, сделали всё, что можно сделать в июне, зная, что толку будет мало, но не делать нельзя.

Козы пришли туда в то утро, когда мы кончили чинить сеть.

Их было голов двадцать, и прошли они поперёк, и, когда я поднялся, было хорошо видно, где именно они шли: полосой в три-четыре шага шириной, через обе большие гряды. Луку они не столько съели, сколько выбили копытами. Бобы съели.

Наверху, на камне, сидел старик и смотрел вниз, и меня он видел очень хорошо.

Старика звали Нирто. Он был весь в шерсти и в жилах, сухой, как палка, с белыми бровями и с посохом, у которого верх был вытерт до блеска, и я в жизни не встречал человека, менее склонного объяснять.

Наши поднялись за мной — семеро, в том числе двое из двора Марры, и настроены они были однозначно, потому что двадцать голов на грядках в июне видели все.

— Гони, — сказал кто-то.

Я сказал старику, что козы вытоптали посев, и показал рукой: вот здесь и вот здесь. Он смотрел на мою руку и молчал. Я сказал ещё раз, медленнее, и подобрал два слова, которые узнал от Каппо: «наше» и «посадили».

Тогда он встал. Он не стал спорить. Он повернулся и пошёл вверх по склону, и через десяток шагов оглянулся и мотнул головой: иди.

Мы шли почти час, и шли по тропе, которой я до того дня не видел.

Вернее, я её видел и не видел: она проходила по верху, за перегибом, и с нашей стороны читалась как случайная звериная стёжка. А стоило пойти по ней, и она оказывалась дорогой: выбитой в камне, местами подсыпанной, с обходом крутого места, со стёртыми до блеска порогами там, где надо ставить ногу. Такую тропу делают не козы. Такую тропу делают люди, и делают долго.

На полпути старик остановился и показал палкой вниз. Там, под нами, лежала наша бухта: галька, четыре костра, навесы у трёх камней, гряды, яма цистерны, лодки. Он посмотрел на это и сказал одно слово.

Я не понял его тогда и переспросил вечером у Тиссы, и она ответила, что это значит «пусто» — но не в смысле «никого нет», а в смысле «незанято, можно брать»: так говорят про место, на которое никто не сел.

Он показал палкой на наши навесы и сказал это слово. Потом пошёл дальше.

Тропа привела к скале. Скала стояла над седловиной, между нашим склоном и верхним пастбищем, и с подветренной стороны у её подножия была сложена низкая стенка в два камня высотой — не укрепление, не загон, просто полукруг локтей в пять.

Внутри лежали черепки. Их было много, очень много, слоями: старые, выцветшие, вросшие в землю, и совсем свежие, ещё с острыми сколами. Миски, кувшины, какие-то плоские вещи с узором. Все они были разбиты. Не расколоты об камень с размаху, а разбиты — ровно, аккуратно, и куски лежали вместе.

А у самой стенки, лицом к морю, стояла маленькая мраморная фигурка в ладонь длиной: руки сложены на животе, голова отбита, на плече сохранилась синяя краска.

Я такие видел на Саринте, за Тимбой. У нас их клали.

Старик сел на корточки в трёх шагах от стенки и дальше не пошёл. Я сел рядом и тоже дальше не пошёл, и мы сидели там, наверное, минуту.

Потом он сказал два слова. Первое я знал: «мать». Второе — нет.

Он не стал объяснять. Он встал, обошёл стенку по широкой дуге и пошёл дальше вверх, к пастбищу, и на пастбище показал мне палкой, откуда и куда ходят козы, и где стоит вода после дождей, и где нельзя гонять, потому что там обрыв и в позапрошлом году потеряли четырёх.

А потом ткнул палкой в тропу и сказал одно слово:

— Всегда.

Я шёл обратно и складывал то, что понял, и мне было довольно скверно.

Здесь не было свободной земли. Здесь была земля, устроенная так, что её устройства не видно: пастбище наверху, тропа через седловину, скала, куда носят разбитое, сети под скалой в нашей бухте, водопой у расщелины — той самой, где я неделю назад считал черпаки и радовался, что нашёл ничьё. Ни один из этих предметов не был огорожен. Ни на одном не стояло знака. Всё это жило в людях — в том, что старик знает, куда ходить, и в том, что все вокруг знают, что знает старик.

А я привёл сюда сто четыре человека и объявил при всех, что вода наша, потому что мы её нашли.

Гряды мы перенесли на следующий день, всем берегом, за полдня — со злостью, с руганью, с полным перекапыванием нового куска, который был хуже прежнего и мельче, зато лежал в стороне от тропы. Лук почти весь пересадили, бобы посеяли заново из остатка.

Тропу мы не тронули.

Вечером был общий разговор, и он был скверный.

Собрались у костров сами, без моего зова, что случилось в первый раз.

Говорил сначала двор Марры — не она, а её старший племянник; потом двое из тех, кто копал цистерну; потом Туммо. Смысл у всех был один, и его не надо было переводить. Мы платим воду ячменём и обсидианом, и это при том, что ячменя у нас восемнадцать мешков на сто четыре рта. Мы отдаём рыбу. Мы чиним их сеть — семь человек третий день сидят у камня вместо работы. Мы отдаём человека на чужую тягу. Мы перекопали гряды и перенесли их на плохое место.

— И за что? — сказал племянник Марры.

— За то, что чужак сломал человеку руку, — сказал кто-то от второго костра.

Я дал им договорить до конца, потому что уже понимал, что перебить — значит платить дважды. Потом сказал:

— Руку сломал я. За руку плачу я, и плачу из своего. Пятнадцать пластин отданы, и я за них ни с кого ничего не возьму. Человеком на тягу иду я сам.

— Нет, — сказала Тисса.

Она сказала это при всех, ровным голосом, не вставая с мешка, на котором сидела.

— Человек на тягу нужен до конца хода. А Курса нужен здесь каждый день. Если он уйдёт тянуть чужую сеть, цистерна встанет. И тогда мы будем очень гордые и встретим дожди с необмазанной ямой.

Берег загудел, и загудел он с ней.

Я стоял и очень отчётливо чувствовал две вещи сразу: что это правильно и что меня при ста четырёх людях только что поправила моя женщина.

— Хорошо. Пойдёт Кисто.

— Пойду, — сказал Кисто.

А дальше я сказал то, ради чего вообще стоял.

— За руку плачу я. За сеть платит двор, который её взял, и платит из своего.

И остановился, потому что решать это надо было не мне.

Ждать пришлось долго. У третьего костра кто-то подбросил дров, и все на это посмотрели, потому что смотреть больше было некуда.

Потом Марра встала.

— Велела посмотреть берег я.

Сказала она это криво и со злостью, и половину сказанного составляло объяснение, почему она была права, и она не подумала попросить прощения ни у меня, ни у кого другого. Но сказала она это при всех и стоя.

Её двор отдал две корзины сушёной рыбы, моток бечевы и семь дней работы двух женщин на починку. Больше у неё не было. Мы приняли столько, сколько у неё было: разорённый двор платит один раз, а работающий — каждый год.

А потом я сказал третье, и оно было не про рыбу.

— Вода, берег и тропа — это не одно и то же и не одна плата. Вода у нас куплена до конца июля, и это строка отдельная. Сеть и рука — случай, и он закрыт. А берег, тропа, пастбище и земля под гряды — это то, о чём мы ни с кем не договаривались. Договориться надо с теми, кому это принадлежит, и до того, как мы поставим здесь первый дом на камне, а не после.

— Кто это они и когда? — спросила Тисса громко, и я до сих пор не знаю, заранее ли мы это придумали или она просто в тот вечер работала лучше меня.

— Валла и её бухта — за берег и воду. Нирто и его люди — за тропу и пастбище. И старший селения за двумя мысами к югу, которому они, по их словам, дают долю, — за землю, потому что именно он скажет, чья она.

— Когда?

— До конца месяца я позову его сюда.

— А если он потребует много?

— Тогда будем решать. Решать будем здесь, при всех. Я съезжу и сговорюсь предварительно, а руку не положу ни на что, чего вы не услышите заранее и чему не успеете сказать «нет».

На этом разошлись. Не помирились, а разошлись, и у второго костра ещё долго говорили, и я слышал своё имя, произносимое тем тоном, каким его произносят, когда обсуждают не человека, а решение.

Тисса ждала меня у навеса и не спала.

Я сел и спросил её то, что держал в себе пятый день.

— Что ты им кричала тогда, на гальке?

— Что нож дан.

— И всё?

Она помолчала.

— Нет.

Она сказала, что кричала ещё одно — им, не мне, — и кричала, что человек, который держит Каппо на земле, заплатит за руку и не станет отпираться.

То есть она за меня пообещала. За полсекунды до того, как я эту руку доломаю, она при двух десятках наших и двух чужих объявила, чего я не сделаю и что я после этого сделаю. И я не мог сказать, что это неправда, потому что я потом именно так и поступил, — но поступил я так уже после того, как она это сказала, и теперь уже никогда не узнаю, как поступил бы сам.

Я на неё разозлился.

— Ты не можешь обещать за меня. Я год на Саринте держал всё на том, что моё слово — моё. А теперь любой на этом берегу знает, что с моей женой можно договориться поверх меня.

Она выслушала.

— Ты бы его добил?

— Нет.

— Ты думал дольше, чем надо.

Это было правдой, и я это знал, и хуже всего было то, что она стояла в шести шагах и видела мою спину, а поняла ровно то, что было у меня внутри.

— Ты сделала это дважды. Тогда на гальке и сегодня у костров.

— У костров я сказала то, что сказал бы любой, кто умеет считать.

— Сказать должен был не любой.

Она села ровнее и долго молчала, и я уже думал, что на этом всё.

— Тогда говори первым. Я не буду сидеть и ждать, пока ты придумаешь, как это будет выглядеть.

— Я не про то, как это выглядит.

— Ты всегда про то, как это выглядит. Ты на Саринте был чужак, и слово твоё ничего не весило, и ты взял источник, и тебя стали слушать. А здесь ты пришёл первым и решил, что это делает тебя хозяином, и теперь удивляешься, что у берега уже есть хозяева.

Я не ответил.

— Здесь у нас соседи, — сказала она. — Соседей нельзя победить один раз навсегда. С ними живут каждый день.

— Я понимаю.

— Нет.

Она сказала это без всякого торжества, устало, и отвернулась, и через минуту повернулась обратно.

А потом она велела мне сделать ступеньку.

Вещь была совершенно бытовая и очень неудобная: ей стало трудно садиться и вставать, а садиться и вставать приходилось раз двадцать за вечер, и у входа под навес не было ничего, обо что можно опереться и на что сесть, чтобы обуться.

— Утром.

— Сейчас.

Я пошёл на берег в темноте, выбрал плоский камень, притащил его на плече, выкопал ножом лунку и вкопал его перед входом.

Она села.

— Низко.

Я выкопал его обратно, подложил под него второй камень, поменьше, засыпал, утоптал.

Она села опять, подумала.

— Теперь качается.

Качался он потому, что второй камень лежал не плашмя. Я вынул всё и начал в третий раз, и в этот раз она уже смеялась, а я сидел в темноте на корточках перед собственным навесом, весь в земле, с содранными о сеть пальцами, и подкладывал под камень плоскую гальку, подбирая её на ощупь, пока не встало намертво.

Она села, потопала по нему пяткой.

— Вот.

Глава 3 "Право на склон"

Глава 3. Право на склон

За старшим я послал на девятнадцатый день, и послал не потому, что был готов, а потому, что сказал при всех: до конца месяца.

Готов я не был ни в чём. Цистерна стояла ямой в полтора роста; обмазывать её было рано — сначала надо было закончить выемку. Ячменя оставалось девять мешков на еду и четыре семенных, и четыре я считал отдельно и не считал вовсе. Всё, чем я мог платить, помещалось в поясе и в двух корзинах: двенадцать обсидиановых пластин, шесть горшков, полмешка еды и обещание, что к весне мы будем жечь известь. А Валле я был должен до конца лета ещё пятнадцать пластин за воду, и закрывать эту дыру мне было нечем, и я об этом думал каждый раз, когда открывал пояс.

Ходил Тирро. Я дал ему пластину и попросил передать, что чужие с холма зовут старшего Кирны прийти и говорить о земле.

Он вернулся через два дня.

— Придёт, — сказал он и больше ничего не добавил, и я не понял, хорошо это или плохо, и спросить было не у кого.

Пришёл Ламмо первого июля, то есть уже после того срока, который я назвал своим. Я позвал вовремя. Приехал он тогда, когда собрался сам, и за эти четыре дня я успел трижды объяснить берегу, что позвал я вовремя.

Перед тем я спросил Каппо, что нужно приготовить. Каппо стоял у воды со своей примотанной к дощечке рукой и подумал дольше, чем я ожидал.

— Еда, — сказал он.

Я обрадовался. Еда у нас была: ход кончился, рыбы навялили на кольях столько, что хватило бы на трёх таких гостей. Я услышал «еда» и понял «накормить».

А сказано было «еда», и означало это весь порядок, в котором на этом берегу люди впервые садятся друг против друга: кто выходит к воде, кто тащит нос чёлна, кого сажают выше, кому наливают первому и чем наливают.

Всё это я узнал в течение следующих двух часов, и узнал так, как узнают такие вещи, — по чужому лицу.

«Товарищи курсанты. Вы спросите местного, что нужно приготовить, и он ответит одним словом. Не радуйтесь, что коротко. У себя дома это слово — название целого порядка, который

все знают с детства и который поэтому вслух не проговаривают ни разу. Вам называли не предмет. Вам называли обряд и решили, что вы его знаете. Переспрашивайте, даже когда поняли. Особенно когда поняли».

Гуляев, третий курс, первый выход на незнакомый участок. Я тогда записал это дословно и решил, что это очевидно.

Их увидели с мыса в середине утра. Лаппо, которого я с рассвета посадил на камень смотреть за южной стороной, прибежал вниз и сказал: три.

Три чёлна шли от южного мыса вдоль берега, не мористее и не торопясь. Человек, который хочет показать силу, обходит мористее, чтобы его видели дольше и чтобы дольше считали. Я насчитал в них четырнадцать голов и пересчитал дважды: в первом чёлне сидели двое маленьких.

С детьми не ходят туда, где собираются ссориться.

К воде спустились все, кому было не лень, и встали на гальке плотной стеной, и я в эту минуту думал ровно об одном: чтобы никто из наших не стоял с копьём. Копья не было ни у кого — я обошёл берег полчаса назад и посмотрел сам, а тем, у кого руки чесались, нашёл работу на откосе.

Первый чёлн подошёл к гальке, и никто из наших не тронулся с места. Они стояли и смотрели, как гребцы табанят, как передний перекидывает ногу через борт, как чёлн разворачивает боком на мелкой волне и как трое в нём хватаются за борта. Я стоял вместе со всеми и смотрел то же самое.

Потом из второго чёлна прыгнул в воду молодой мужик, взялся за нос первого и вытянул его на гальку сам.

Он вытянул чёлн своего отца. Он сделал это спокойно и быстро, как делают работу, которую надо сделать, потому что её не сделал никто другой, и вода у него стояла выше колена, и юбка на нём была мокрая до пояса, и с неё текло всё то время, пока мы потом здоровались.

Я дошёл до воды, влез по щиколотку и взялся за борт третьего чёлна, и за мной сообразили и взялись ещё четверо наших. Третий чёлн мы вытащили хорошо.

Старшего Кирны звали Ламмо. Ему было под шестьдесят, он был сухой, с плоской грудью и длинными руками, и юбка на нём была крашенная — синим, неровно, полосами, — и это единственное, что на нём было дорогого. Ни украшений, ни ножа на виду. Он сошёл с чёлна последним, оглядел бухту, галечный откос, вытяжку, наши навесы наверху и четырнадцать наших лодок, сказал что-то сыну, и сын кивнул.

Сына звали Хинно, и это он лез в воду за носом чёлна.

С ними приехали: жена Ламмо, которую звали Урра, немолодая и тяжёлая на ногу; невестка с грудным; четверо работников, из которых двое были явно не из их дома — держались отдельно и не садились, пока не сядут; и ещё один, немолодой, в грязной рубахе без пояса, с обмотанными тряпьем ладонями. Он сошёл на берег, отошёл на десять шагов от воды, присел на корточки у откоса и стал ковырять его пальцем.

На него никто не обратил внимания, включая меня.

Они привезли корзину сушёного инжира и мешок соли.

Соли у нас не было совсем. Мы солили рыбу морской водой, выпаривая её на плоских камнях, и получалось этого столько, что смешно было называть работой. Когда Урра поставила мешок на гальку и развязала горловину, я услышал, как за спиной у меня кто-то из баб коротко выдохнул.

Гостинец привозят те, кто приходит. Я об этом не знал и не приготовил ничего.

Наверх я повёл их по короткой тропе, той, что идёт прямо и круто: по ней ходили мы сами.

Урра шла третьей и на середине остановилась. Она не пожаловалась и ничего не сказала. Она просто встала, держась за камень, и стояла, и невестка стояла рядом с ребёнком и ждала, и вся процессия внизу остановилась тоже, и стояли мы так, по моим ощущениям, очень долго.

Есть длинная тропа, в обход, на четверть часа дольше. По ней потом поднимались все, кто старше пятидесяти, и я это знал уже к августу. В то утро я знал только, что немолодая женщина стоит на моём склоне и не может идти дальше, а я иду впереди и показываю дорогу.

Наверху, у трёх камней, гостей усадили на Стол. Наши постелили на него циновку и показали рукой: садись. Это было лучшее место у нас во всей бухте: ровно, в тени после полудня, и с него видно море.

На этом камне у них раскладывают. Рыбу, сеть, разобранную снасть, покойника. На нём не сидят.

Ламмо сел. Он сел без единого движения в лице, ровно на середину, подобрав ноги, и сидел так всё время, пока мы сустились вокруг, и не сказал ни слова. А его работники, те двое, что были не из его дома, переглянулись, и один шевельнул углом рта.

Вот этот угол рта я и увидел, и не понял, что увидел, и запомнил.

Потом Насса принесла воду и налила гостю мерным черпаком.

Мерный сосуд у нас был один — тот, что привёз Пиясса, глиняный, с зарубкой по внутреннему краю, и по нему считали всё. Насса сидела с ним у посуды с утра до вечера двадцать третий день подряд, и за эти двадцать три дня она отмерила черпаком, наверное, полторы тысячи раз, и рука у неё делала это сама. Она зачерпнула, подняла, дала осесть, слила лишнее обратно до зарубки и протянула Ламмо.

Я смотрел на её руки и видел только, что всё сделано правильно.

Ламмо взял, выпил и отдал ей черпак обратно. Потом посмотрел на меня — первый раз за всё время прямо — и сказал короткую фразу, в которой не было ни одного незнакомого слова:

— У вас воду наливают из мерки.

— Да.

— Тогда говори про дело сейчас, пока я не поел.

И вот тут у меня прошёл холодок по спине, потому что я вспомнил, как две недели назад в бухте Валла кормила нас первыми и не считала воду, которую мне наливали, хотя торговалась за каждые сорок черпаков.

Пока ты не поел — ты гость, и с гостем считаются по-другому.

Он предложил мне разговаривать без этого. Предложил мягко, и он был в своём праве: человек, который отмеривает гостю воду мерным черпаком, уже сказал этим всё. У нас мало. Мы вас не примем. Мы с вами будем считаться.

А мне надо было говорить с ним про землю, и говорить долго.

Я сел на гальку перед Столом, ниже его.

— Здесь никто не знает, как надо. Скажи, как надо, и так будет.

Он молчал довольно долго. Потом встал со Стола, что само по себе было ответом, огляделся и показал подбородком на место под скалой — в тень, туда, где камень стоял стеной и где земля была утоптана: там у нас сидела Насса со своей посудой.

Я велел перенести туда циновку.

Он сел под камнем, спиной к скале, лицом к морю, так, чтобы солнце было сбоку, и я сел ниже и правее, ровно так, как меня посадили в бухте у Валлы. Урру и невестку увели в тень к навесам, и туда же Тисса послала за молоком, которого у нас было две кружки в день с обеих коз, и обе эти кружки ушли туда.

А Нассе я сказал:

— Налей всем. И не мерь.

Она посмотрела на меня. Она держала в это время мерный сосуд обеими руками.

— Четырнадцать человек. Считая детей.

— Я сказал: не мерь.

Я сказал это громче, чем надо было, и сказал при трёх наших и при Хинно, и она налила и не ответила ни слова, и вот это «не ответила» я потом три дня носил с собой.

Четырнадцать человек, поившихся у нас с полудня до утра, обошлись нам в двадцать два черпака, и это было двадцать два человеко-дня, и я записал их на плитке в тот же вечер отдельной строкой — иначе они разошлись бы в общем счёте.

Землю пошли обходить сразу, до еды, и пошли впятером: Ламмо, Хинно, я, Дессо и тот немолодой в грязной рубахе, которого звали Санно.

Шли мы от бухты вверх и на север, и шли медленно: Ламмо останавливался на каждом перегибе и смотрел.

Он не спорил. Он называл. Он останавливался и говорил: это. Потом показывал рукой предел — до того камня, до той складки, до сухого дерева, — и Хинно повторял за ним, и я понимал, что мне показывают не границы участка, а границы слова, которое этот человек может сказать и за которое с него спросят.

Всё, что лежало от седловины вниз к нашей бухте, включая площадку, зелёную полосу, расщелину с водой, галечный откос и вытяжку для лодок, он назвал своим — в том смысле, в каком он был старшим: не «я это пашу», а «я за это отвечаю и я с этого беру долю». Долю он брал с бухты Валлы — рыбой. С людей Нирто — сыром и шерстью. С двух дворов, которые сеяли по северному склону, — ячменём.

А с нас он не брал ничего, потому что нас тут не было.

На северном склоне я и открыл рот.

Место было лучшее из всего, что я здесь видел: пологое, широкое, земля глубокая, не каменистая, с тем сорняком, который растёт только там, где пахали. Наши гряды, перенесённые после коз, лежали в стороне от него и ниже — на клочке вчетверо меньше и вдвое хуже, и все дни, что мы здесь жили, я ходил мимо этого куска и прикидывал, сколько на него уйдёт работы.

Он стоял пустой. Ни межи, ни камня, ни ограды. Трава в пояс и ничего больше.

Я показал на него рукой.

— Вот это мы вспашем осенью.

Ламмо ответил не сразу. Он прошёл по краю шагов тридцать, нагнулся, вырвал пучок, посмотрел на корень, бросил и сказал два слова, которых я не знал.

Хинно стал объяснять, и объяснял долго, и я собрал это примерно за четверть часа.

Кусок был под паром. Здесь сеют через год: год ячмень, год трава, и на этой траве стоит скот, и поэтому земля родит. Половину, что лежит ниже, в это лето засеяли; я её видел и решил, что это чужое и далеко. А верхнюю не засеяли нарочно, и то, что она выглядела пустой, и означало, что она в работе.

Два двора из Кирны сеяли её попеременно тридцать лет.

Я стоял и смотрел на траву в пояс, и мне было даже не стыдно, а тошно, потому что тошнило меня не от травы. Я сказал это вслух на берегу — не в уме, не себе, не вечером у костра, а при трёх дворах, когда мы кончили перетаскивать гряды на плохое место, и бабы стояли злые, и надо было что-то дать. Я сказал: осенью пашем северный склон, и там будет не такая дрянь, а настоящая земля.

Мне поверили сразу, потому что хотели.

И теперь мне предстояло вернуться и сказать при тех же людях, что северного склона не будет ни осенью, ни через год, и что землю, на которой мы стоим, надо ещё купить.

На седловину поднялся Нирто. Он поднялся с той стороны, от пастбища, со своим посохом, и они с Ламмо поздоровались так, как здороваются люди, которые видятся четыре раза в год и не испытывают по этому поводу никаких чувств.

Нирто ткнул палкой в тропу и сказал одно слово. То самое.

Ламмо кивнул и повторил его мне.

— Тропу мы не трогали и не тронем. И гряды перенесли двенадцать дней назад. Пусть посмотрит.

Нирто посмотрел. Потом прошёл по тропе шагов двадцать вниз, туда, где наши таскали камень и где тропу за две недели разбили ногами в пыль, постоял там, вернулся и сказал Ламмо длинную фразу.

Хинно перевёл мне из неё половину: ходить можно, возить нельзя.

Я не понял разницы и спросил. Разница была в том, что по тропе гоняют коз, а коза на разбитой осыпи ломает ногу, и что всё, что мы за две недели по ней перетаскали, придётся подсыпать и утоптать.

— Подсыплем.

Нирто ничего на это не ответил, повернулся и пошёл вверх, к пастбищу, и Ламмо смотрел ему вслед с выражением человека, который только что получил бесплатно то, за что собирался торговаться.

А внизу, у края площадки, Санно разговаривал с моей стеной.

Стена была пока в двенадцать шагов длиной и в два камня высотой — пробный ряд, который я положил своими руками за три вечера и которым, честно говоря, гордился.

Я ставил её под гряды. Площадка на северном краю обрывалась осыпью, и осыпь эта ползла: за две недели она съела у нас полтора шага ровного места, и один навес пришлось переносить. Я хотел подпереть её снизу и по ровному засыпать террасу.

Так я это объяснял.

Санно обошёл мой ряд снаружи, потом изнутри. Потом сел на корточки у основания, поковырял, как он ковырял откос на берегу, вынул из-под нижнего камня горсть мелочи и показал мне на ладони. Мелочь была сухая и сыпучая.

— Ты положил её на осыпь, — сказал он. Говорил он медленно, потому что понимал, что я понимаю медленно. — Осыпь лежит на сером. По серому зимой идёт вода. Вбок, поперёк. Вода пойдёт между серым и твоей осыпью, и осыпь поедет вместе со всем, что ты на неё положил.

Я стоял и вспоминал, как три недели назад лежал щекой на сыром камне и вёл ладонью вдоль мокрой полосы, которая шла вбок.

Я знал про эту воду больше, чем он. Я её нашёл, я поставил на ней всё поселение, я третью неделю жил по счёту, который из неё выводил. И я положил на неё стену, потому что в тот вечер, когда я её начинал, я думал не про воду, а про то, как это будет выглядеть сверху.

— Ты кто?

— Санно.

— Я спрашиваю не имя.

Он посмотрел на меня и, кажется, впервые за день заинтересовался.

— Кладу камень. В Кирне зимой работы нет. Ламмо сказал: поедешь, посмотришь, что у них там. Я и смотрю.

— И что ты насмотрел?

— Что у вас тут на три зимы работы и нет ни одного человека, который умеет её делать.

Он сказал это без всякого торжества, как говорят про погоду, и снял с ладоней тряпку, расстелил её на камне и стал показывать камешками, как надо. Снять осыпь до серого слоя — всю, по длине, на глубину от половины локтя до двух, где как ляжет. Первый ряд класть на серый камень, прямо на него, подтесав постель. Воду пропускать сквозь стену, а не держать стеной: оставить в нижнем ряду сухие продухи, по одному на каждые три-четыре шага, и за стеной, у самой подошвы, засыпать щебень. И класть не отвесно, а с завалом внутрь, в склон, примерно на ладонь на каждый рост.

Дессо стоял рядом и не сказал за весь обход ни одного слова, но с этого дня ходил за Санно так, как ходят за человеком, у которого учатся.

— Сколько это стоит по времени?

— На двенадцать шагов — четыре дня вчетвером. Если камень рядом.

— А то, что уже положено?

— Разобрать.

Ели во второй половине дня, на площадке, и ели все: гости и наши: накрыть где-то отдельно у нас уже не получалось.

Мы зарезали козу. Их у нас было две, обе общие, обе давали в день по кружке с небольшим, и одна из них к тому же ходила по Козьей Голове и обозревала море, и дети из-за неё дрались, кому её звать.

Я велел резать ту, которая доилась хуже. Я принимал это решение минут пять и принял его сам, не спросив ни Тиссу, ни Нассу, и заметил это только вечером, по лицу Марры, которая две недели поила детей этим молоком пополам с водой.

Мясо отдали гостям. Не всё. Но печень, почки и лучшую часть задней отдали туда, а нашим пошёл котёл с ячменём, где мясо было, но его надо было искать.

И вот тут поднялся крик.

Кричал Лаппо. Четырнадцать лет, тощий, уши торчком, тот самый, который три недели назад унёс из-под скалы чужую сеть. Он третий день сидел на половинной раздаче: мальчишки его возраста едят как взрослые и получают как дети, и положение это он считал несправедливым и был, в общем, прав.

Он дождался, пока печень понесут мимо него, и сказал громко — не гостям, а своим, но громко:

— У нас теперь каждый, кто приплывёт, ест печёнку. А свои жрут воду.

Я стоял в двадцати шагах и видел, как обернулся Хинно. Он не понял слов. Он понял тон, а тона хватает всегда.

Я шагнул туда с ясным намерением взять мальчишку за шиворот и вывести с площадки, и это было бы худшим, что я сделал за тот день, потому что он сказал вслух то, что в эту минуту думала половина берега, и вывести его значило показать всем, что за такие мысли выводят.

Меня опередила Насса.

Она перехватила его на полдороге к котлу, взяла у него из рук миску, поставила на камень, а вместо миски сунула ему блюдо с мясом, которое несли гостям. И сказала — не ему, а на всю площадку, тем своим ровным издевательским голосом:

— Разносит он. У него ноги длиннее.

Лаппо стоял с блюдом и не знал, что с этим делать. А она уже повернулась к нему спиной и на ходу, не оборачиваясь, добавила:

— Раздающий ест последним. И из своей руки.

Он понёс. Обошёл всех гостей, и каждому подал, и каждый ему что-то сказал, и Урра потрепала его по плечу, и к третьему заходу он нёс блюдо уже с таким лицом, будто эта работа досталась ему по большому праву.

А сердце козы Насса вынула из котла заранее и сунула ему в руку у скалы, за посудой, так, что этого не видел никто, кроме меня и двух девчонок, которые молчали, — им тоже досталось.

Мимо меня она прошла, не остановившись.

Говорить начали, когда стало прохладнее, и говорили до темноты, и это был первый разговор в моей здешней жизни, где я понимал почти всё: Хинно говорил со мной медленно и нарочно простыми словами, а Ламмо говорил длинно, и Хинно переводил. И ещё потому, что предмет был простой. Про землю везде говорят одними и теми же словами.

Начал Ламмо.

— Вы сели на моём берегу. Я не гнал вас двадцать пять дней и не погону. Гнать сто человек — это война. Война мне не нужна, и тебе тоже.

Потом сказал, что нас видели все берега от Кирны до Валлы, и что теперь всякий, кто придёт сюда за рыбой или за водой, будет спрашивать, чьи здесь люди.

— И ответа на это сейчас нет. Сейчас про вас говорят: пустые.

То самое слово, которое сказал мне Нирто на тропе.

— Я могу сказать всем берегам: холм сел. Люди холма — сидящие, и с ними говорят как с сидящими.

— Что ты за это хочешь?

Он хотел четыре вещи. Двадцать мужчин по первому зову, когда придут с моря. Долю улова с нашей бухты — десятую корзину. Тропу и пастбище не трогать, а разбитое подсыпать. Чужих на холме не селить без его слова.

Про северный кусок он не сказал ничего, и я понял, что о нём не будет разговора вовсе, и оказался прав.

Двадцати мужчин у меня не было. У меня было сто четыре человека: сорок один ребёнок, тридцать одна женщина и мужчин, считая двух стариков и считая Ландо со сломанной ногой, тридцать два. Из них годных идти и драться — двадцать два, и это если брать всех, включая Кисто, которому двадцать, и включая двоих, которые в жизни не держали ничего, кроме весла.

Двадцать из двадцати двух — это пустой берег.

— Десять.

— Двадцать.

— Двадцать у меня есть. Но если они уйдут, здесь останутся бабы, дети и яма под цистерну. Через день после того, как я уведу двадцать человек в Кирну, сюда придёт кто угодно и возьмёт всё. И тебе не с кого будет брать десятую корзину.

— Двадцать.

И встал.

Я его не остановил. Я сидел и смотрел, как он встаёт, и как встаёт за ним Хинно, и как на другом конце площадки поднимает голову Туммо, который всё это слушал со своего места, и очень ясно понимал, что, если Ламмо сейчас уйдёт, то уйдёт до утра: ночевать после несостоявшегося разговора здесь никто не станет.

А уйдёт он — и мы остаёмся при своих девяноста черпаках, при договоре с Валлой до тридцать первого июля и при слове «пустые», которое к августу дойдёт до всех берегов в округе.

Гуляев когда-то говорил нам: если торгуешься не с позиции силы, не набавляй. Предложи другое.

Другого у меня было ровно одно.

— Подожди. Я дам не то, что ты просишь.

Он остановился.

— У меня мыс.

С нашего мыса видно два перехода в обе стороны. Это единственная причина, по которой я вообще сюда пришёл, и я знал это с того дня, как первый раз поднялся туда с Пияссой в мае. Кирна лежит за двумя мысами к югу, в глубине, и из неё моря не видно дальше чем на полперехода. Когда к ним приходят, они узнают об этом в тот час, когда чужие лодки уже на воде перед их берегом.

— Я посажу на мысу человека. Каждый день, от рассвета до темноты, всё лето. Он увидит парус за два перехода. Дым с мыса днём, огонь ночью — и у тебя есть два часа. Не десять человек. Два часа.

Ламмо стоял. Потом сел обратно и спросил — первый вопрос, который он задал мне сам, без Хинно, и задал медленно, чтобы я понял:

— Кто будет стоять?

— Мои. Посменно. С завтрашнего дня.

— А если проспит?

— Значит, проспит. Я не обещаю, что мы увидим всё. Я обещаю, что человек там будет стоять и что дым поднимется, как только он увидит.

Он думал довольно долго.

— Десять человек и мыс.

— Десять человек — только на берег. Придут с моря на берег Кирны — иду сам и веду десять. Пойдёшь наверх, к оврадам, или сводить счёт с соседями в горах — это без меня.

— Понятно, — сказал он сразу и без обиды, и по тому, как быстро он это сказал, я понял, что спрашивал он не всерьёз и заранее знал ответ.

На десятой корзине я торговался зря.

Я сказал, что ставной сети у нас нет, что единственную сеть на этом берегу мы месяц назад перерезали и что сейчас наши берут рыбу с чёлнов на крючок, а это корзины полторы в день на всю бухту.

— Десятая.

— Тогда ты получишь с нас в это лето десять корзин за всё лето. Это смешно.

— Десятая.

И вот тут я понял, что он покупает. Он покупал не рыбу. Он покупал строчку — чтобы было сказано при свидетелях, что люди холма дают долю Кирне, и чтобы через пять лет, когда в этой бухте будет стоять сорок лодок, никто не мог сказать, что долю ввели недавно.

Он считал вперёд лучше, чем я.

— Десятая — с того, что берут в этой бухте. Не с того, что привезут сюда чужие.

Он посмотрел на меня и в первый раз за день чуть шевельнул лицом.

— Хорошо.

Эта поправка стоила ровно ничего в то лето, и придумал я её не от ума, а от злости.

Четвёртое условие я не принял. Он хотел, чтобы мы не селили на холме никого без его слова, и объяснил зачем: берег узкий, вода считана, и если сюда придёт кто попало, кормить его будет округа, а отвечать за него — он.

Это было разумно, и я это признал вслух. А потом сказал:

— Нет.

— Почему?

— К нам будут приходить. Приходить будут с Саринта. Я сейчас не могу поручиться, кто именно и когда. И если я скажу «без твоего слова — никого», то первое же слово, которое я нарушу, будет моё собственное.

— Сколько?

Я не понял.

— Сколько людей ты приведёшь сюда до следующей весны? — повторил он медленнее.

Я сидел и считал вслух, при нём, и считал долго, потому что считал впервые. Воды у нас сто тридцать черпаков, из них сорок чужие и до конца июля. Цистерна, если соберёт зимой хоть что-то, даст летом ещё сколько-то, и сколько — я узнаю в мае.

— До весны — не больше двадцати. И назову каждого.

— Двадцать.

— Если придёт больше, я приду к тебе и скажу раньше, чем они сойдут на берег.

Он подумал.

— Это не то же самое. Но я это возьму.

Тогда я сказал последнее, что должен был сказать, и сказал это нарочно медленно, чтобы Хинно перевёл без потерь.

— Всё, что мы сейчас назвали, я не закрепляю сегодня. Я обещал своим, что не положу руку ни на что, чего они не услышат заранее. Утром я скажу им это при всех. Если они встанут

против — я приду к тебе и скажу, что мы не сговорились, и тогда ты уйдёшь ни с чем и будешь прав.

Хинно перевёл, и Ламмо слушал, глядя не на меня, а на воду.

— А если они встанут против, что ты будешь делать?

— Считать заново.

Он помолчал.

— У нас так не делают. У нас старший говорит, а двор слушает. — Он подобрал ноги. — Но я подожду до утра. Мне спешить некуда, я у тебя ночую.

А потом показал подбородком на мою стену.

— Под гряды так не кладут.

Я мог бы объяснить про осыпь. Я даже начал. Он выслушал меня до середины и сказал, что осыпь он видел, что осыпь держат в полкамня, а не в полтора, и что он двадцать лет смотрит, как люди кладут стены, и отличает стену под землю от стены под людей.

Тут я и решил — в одну секунду.

— Да. Я поставлю ограду.

— Когда?

— Не в этом году и не в следующем. Но поставлю. Ставить начну отсюда, и ты сейчас это знаешь.

Он посмотрел на площадку, на яму цистерны, на четырнадцать навесов и на детей, которые в этот момент с воплями скатывались по осыпи, которую нам предстояло убирать всё лето.

— Ставь, — сказал он. И добавил ещё одну фразу, и Хинно перевёл её так: лучше знать, чем догадываться.

Стену мы разобрали в тот же вечер.

Двенадцать шагов, два ряда, три вечера моей работы — Санно разобрал их за час, причём разбирал не он, а я: он сел в стороне на камень, показал пальцем, с какого конца начинать, и стал смотреть.

Разбирать чужую кладку неприятно. Разбирать свою — работа, которую надо делать молча.

Я снимал верхний ряд и складывал камни в две кучи, как он велел: плоские и толстые отдельно, длинные отдельно, — и очень скоро понял, что длинных у меня почти нет, а в стену их нужно больше всего.

Он подошёл, взял из кучи камень — тот, которым я особенно гордился, ровный, с хорошим лицом, — и положил его на землю лицом вверх.

— Ты клал их лицом наружу.

— Да. Чтобы ровно.

Он перевернул камень набок.

— Длинный он вот в эту сторону. Ты кладёшь его лицом наружу, а длиной — вдоль стены. Вся длина лежит снаружи, а внутрь идёт короткий конец, и держать ему нечем.

Он толкнул её плечом. Не очень сильно. Она сошла шагах на трёх.

Камень кладут длинным концом в склон. Через каждые три-четыре шага — сквозной, во всю толщину, и на нём стоит всё. Каждый камень должен лежать на двух. Никогда — швом над швом. Выравнивать надо не верх ряда, а постель: то, на чём камень сидит.

— На то, чтобы положить камень, уходит четверть времени, — сказал Санно. — Три четверти уходят на то, чтобы найти среди пятидесяти тот, который ляжет сам.

— А если поставить двенадцать человек, по шесть с каждого конца, навстречу?

— Тогда посередине у тебя будет место, где вы сведёте два ряда, и там не будет ни одного камня, который лёг бы сам, и вы его заклините щебнем. И через две зимы стена пойдёт ровно оттуда.

— А если разбить на участки и каждому дать свой?

— Можно. Только сначала научи их видеть камень. Это зима.

Тогда же ко мне подошёл Пессо.

Пессо было около тридцати, он пришёл с нами с Саринта со двора Пинда, у него была жена Митта и двое детей, и он был из тех, кто работает ровно и никогда не работает даром.

— Стена — это чья работа?

— Общая.

— Цистерна общая, я понимаю. Из неё пьют все. А стена стоит наверху, под грядками. Мой навес внизу, и моих гряд наверху нет.

Я начал объяснять про осыпь, про полтора съеденных шага и про то, что со временем мы поставим тут ограду и за этой оградой будут все.

Он выслушал.

— Со временем. А класть я буду в это лето.

— Будешь.

— Тогда считай.

Я взял плитку и завёл счёт дней на стене, и завёл его в тот же час, при нём, и он смотрел, как я это делаю, и, когда я показал ему черту против его имени, сказал:

— Я считать не умею. Я помню.

Своим я сказал утром: вечером говорить было нельзя: гости ночевали у нас.

Собрал у костров всех, включая детей. Говорил по порядку: что даём, что берём, с какого дня. И сказал сразу, что ничего ещё не закреплено и что закреплю я это при них или не закреплю вовсе.

Берег молчал ровно до слова «десятая».

Потом заговорили все сразу, и говорили примерно одно, и разбирать мне не пришлось напрягаться. Мы платим за воду ячменём и обсидианом. Мы отдали рыбу за сеть и человека на чужую тягу. Мы перекопали гряды и перенесли их на плохое место. Мы теперь будем подсыпать чужую тропу, чтобы чужим козам было мягко. А теперь мы платим ещё и за землю, на которой уже месяц живём и которую расчистили руками.

Кисто сказал громче всех, и сказал то, что имел право сказать:

— Я эти гряды копал два раза. Первый раз там, второй здесь. Второй раз я копал их потому, что ты велел. Чьи они теперь?

— Наши. За то, чтобы они были наши, мы и платим.

— Они и так наши. Мы их копали.

И вот здесь мне надо было сказать самую неприятную вещь, и я её сказал.

— Нет.

Я сказал, что копали — да, и что от того, что ты копал, земля твоей не становится; что на Саринте она становилась, потому что там за спиной у нас был Кинт, обвод и люди, давно жившие на этой земле; а здесь у нас за спиной нет ничего, кроме девяноста черпаков и слова «пустые», и что человек, у которого за спиной ничего нет, землю не имеет, а занимает.

— Мы покупаем не землю. Мы покупаем, чтобы это было сказано вслух при чужих.

— А что мешает ему сказать вслух одно, а через год другое? — спросил кто-то из дома Тавы.

— Ничего не мешает. Мешает ему то, что он берёт с нас долю. С кого берут долю — того и защищают, иначе доля кончается.

Это они поняли сразу и без перевода. Это понятно всем и везде.

А про северный склон я сказал в самом конце, и сказал коротко — растягивать было бы хуже. Я сказал, что северного куска не будет. Что он под паром и что его тридцать лет сеют два двора из Кирны попеременно, и что я этого не знал, когда обещал его вспахать, а обещал я его при вас и вслух.

Берег принял это молча, и молчал он нехорошо. Хуже всего было то, что никто не стал спорить. Мне бы стало легче, если бы кто-нибудь сказал, что я дурак.

Марра сказала, что уходит.

Она сказала это, когда все уже вроде бы выговорились, и сказала спокойно, стоя: что берёт троих своих, что ждёт августовскую лодку, что на Саринте у сестры есть угол и что она три недели назад поверила мне про землю, а земля оказалась чужая и за неё надо платить рыбой, которой у неё нет.

— Уйдёшь, — сказал я.

Лодка в августе, место в ней ей дают первой: у неё трое малых, и доля её двора будет отсчитана по счёту: её зерно, её семена, её часть общего, кроме питт и кроме варды.

— Когда отсчитают?

— Когда скажешь.

И вот тут в разговор вошла Тисса, и вошла не туда, куда я ждал.

— Сейчас.

Она сидела на мешках — стоять ей было уже тяжело, и голоса она не повышала.

— Отсчитать сейчас, при всех, и записать.

Я начал говорить про то, что до августа ещё месяц и что за этот месяц счёт изменится.

— Вот и запишем два раза. Сегодня и в августе.

А потом сказала то, ради чего, я думаю, и заговорила:

— Три недели назад здесь было сказано, что уходящий уходит с долей и без слова вслед. Сегодня нам это неудобно, потому что уходит Марра и уходит она громко. Если мы сегодня это отложим, то в августе никто не поверит ни одному нашему слову. И не потому, что мы соврём, а потому, что один раз отложили.

Я сказал Нассе: считай.

Насса считала при всех, вслух, с плитки, и на это ушло, наверное, полчаса, и половина берега слушала эти цифры так, как слушают чужое завещание.

У двора Марры выходило меньше, чем думала Марра, и больше, чем думал я. Она забрала свой счёт и ушла к навесу, ничего не сказав.

Против условий не встал никто. Ругались долго, и ругались на всё сразу, и, когда я спросил прямо, есть ли двор, который говорит «нет», не встал ни один, и молчание это было такое же, как всегда: не согласие, а конец возражениям.

А я весь остаток утра думал не про Марру. Я думал о том, что Тисса была права и что правоту эту мы оплатили тем, что теперь весь берег видел, как при чужих гостях считают долю уходящего двора. Хинно стоял в десяти шагах и смотрел, и я не мог понять по его лицу, считает он нас щедрыми или считает, что у нас разваливается.

Уходили гости на третье утро, и уходили долго.

Сначала повторяли условия. Повторяли вслух, при всех, и повторяли не так, как я ожидал: у них каждую строку называет не тот, кто её на себя взял, а другая сторона.

Хинно встал и назвал, что должны мы: десять человек на берег Кирны по дыму, человек на мысу от рассвета до темноты, десятая корзина с того, что взято в бухте, тропа подсыпана и не тронута, до весны не больше двадцати новых людей и каждый назван.

Потом встал я и назвал, что должен Ламмо: слово всем берегам, что холм сел; долю с нас берёт он один и больше никто; за тропу и пастбище он отвечает перед Нирто сам; и если на нас придут с моря — он не даёт им ни воды, ни берега, ни людей.

Он поправил меня один раз.

— Воды не дам. Берега не дам. А людей своих я не удержу, если их наймут по одному, и обещать этого не буду.

Свидетелей было человек сорок, и половина из них — наши дети, которых я поставил впереди нарочно, чтобы запомнили.

Потом обменялись. Я отдал пять обсидиановых пластин — пять из одиннадцати, что у меня оставались, — и отдавал их с тем чувством, с каким отдают инструмент.

Ламмо отдал мешок соли, тот самый, привезённый, и это было не возмещение, а обмен: соль за обсидиан, вещь за вещь, и по здешнему счёту вышло примерно ровно, хотя мне досталось лучше.

А ещё он привёл с третьего чёлна козу. Молодую, годовалую, белую с рыжим боком, которую свели на берег и которая сразу же попыталась пойти обратно в воду.

— Коза за козу, — сказал он. — Резать вторую вам будет нечего.

Я стоял и держал эту козу за верёвку. Человек, который двое суток торговался со мной за десятую корзину рыбы, которой у меня нет, привёз с собой козу на замену той, которую мы зарежем, и привёз он её сразу, ещё не зная, зарежем ли мы вообще что-нибудь.

Камень поставили на седловине. Плоскую плиту в полтора локтя, которую его работники притащили от самого берега, вкопали в землю на перегибе тропы, ровно там, где мой склон становится их.

На своей стороне Хинно выбил три косые черты — знак Кирны, который я потом видел на их лодках, на их мешках и на плитах в их ограде.

Ламмо посмотрел на меня.

— Теперь ты.

У меня не было знака. Я стоял с ножом перед этим камнем, и за спиной у меня стояло сорок человек, и я очень ясно понимал, что то, что я сейчас нацарапаю, будут рисовать на мешках, на вёслах и на воротах, и что выбирать мне некогда.

Я вырезал косую черту с точкой.

Так я всю жизнь метил своё: на отборе, на флоте и потом на Саринте — на вёслах, на бурдюках, на ящике с инструментом. Это ничего не значит и никогда не значило; это просто то, что рука делает сама, если ей надо оставить метку и она никуда не торопится.

Уже у воды, когда чёлны стояли носами на гальке и в них грузили пустые корзины, Ламмо сказал последнее.

— Через пять дней мои люди идут на торговую стоянку. Двумя чёлнами, с сушёной рыбой и шерстью. В прошлом году их у третьего мыса остановили и взяли половину груза.

— И что?

— Дай мне двоих.

— Кого?

— Тебя и ещё одного.

Он сказал это спокойно и глядя в сторону, и я понял, что решено это было им ещё до того, как он сюда приехал, и что весь вчерашний торг про двадцать человек и про мыс шёл при этом отдельно, потому что одно с другим у них не смешивают.

— Этого нет в том, о чём мы сговорились.

— Нет.

— И если я не дам, ты ничего не потеряешь.

— Не потеряю. — Он поправил корзину в чёлне. — А если дашь, я это буду помнить дольше, чем десятую корзину.

Я дал. Я дал, потому что человек, у которого за спиной сто четыре души и одна ограда в чужом слове, покупает память соседа всякий раз, когда её продают. И потом за это платил трижды, и каждый раз дороже, чем в тот день казалось.

— Откуда ты знаешь, что я хожу на лодках?

— У тебя человек с рукой в бухте.

И пошёл к чёлну.

Договор начал работать в тот же час, а не с весны, как я почему-то думал всё это время.

Я стоял на гальке, смотрел, как уходят три чёлна, и считал: пять дней, двое суток туда, столько же обратно, то есть меня не будет здесь пять или шесть дней в самое рабочее время, и это в начале июля, когда Валла даёт воду до тридцать первого, а цистерна вынута на треть.

Потом поднялся наверх и сказал Кисто, что с завтрашнего утра на мысу сидит человек и что первую смену он берёт себе: придумал это не он, а я, но сидеть будет он.

— Сколько сидеть?

— Всё лето. Посменно. И чтобы дрова на дым лежали там сухие, под камнем, и чтобы их никто не таскал на костёр.

Потом я пошёл к скале, где сидела Насса. Она считала посуду и не подняла головы.

— Двадцать два черпака. Я записал их отдельной строкой.

— Я знаю. Я их наливала.

— Я вчера сказал при людях громче, чем надо было.

— Ты сказал «я сказал: не мерь». Мерить велел мне ты. Три раза при всех. Люди это помнят.

— Помнят.

— Вот и хорошо, что помнят. — Она переставила два горшка и всё-таки посмотрела на меня. — Каменщик этот спрашивал, чья я.

— И что ты ему сказала?

— Ничего. Это ты ему что-то сказал.

Я сказал Санно, что она сестра моей женщины. Это была неправда, и неправда удобная: Насса мне не сестра и не родня, она вдова с двумя детьми, пришедшая с нами с Саринта, и в первую нашу зиму она сказала мне четыре фразы. Но объяснять это человеку, который спрашивает «чья», у меня не было ни слов, ни желания.

— Он сказал, что у тебя хороший счёт.

— Скажи ему, что у меня и память хорошая. Он вчера три раза подошёл к котлу.

Он подходил дважды. Я проверял.

Санно остался у нас с двумя своими работниками, и остался на всё лето, и в счёт наших ста четырёх они не входили: их кормили мы, а долю они не брали, и Насса вела их на отдельной плитке — иначе всякий раз при раздаче начинался спор.

Потом я взял козу.

Нести её было некому: наверх в этот час шли все, кто мог что-нибудь нести, и все несли камень со дна осыпи: стену мы в тот день уже начали заново. Она упиралась всеми четырьмя ногами до середины подъёма, потом передумала и пошла вперёд так, что я её не удерживал, а на верхнем перегибе выдернула у меня верёвку и ушла на Козью Голову, и там встала, и дети побежали со всех сторон.

Я сидел на камне с ободранной ладонью и смотрел, как они её оттуда снимают.

Сняли они её только к темноте.

Глава 4 "Лодка с мукой"

Глава 4. Лодка с мукой

Сопровождение я отдал восьмого июля и потерял на нём пять дней.

Ни в одной строке того, что мы с Ламмо называли вслух при сорока свидетелях, про торговые рейсы не было ни слова. Я отдал эти дни сверх договора и отдал их сам, и это надо помнить: позже мне ещё скажут, что договор работает в одну сторону.

Пять дней в середине лета — это не пять дней. Это цистерна, которая в моё отсутствие ушла вглубь на локоть вместо трёх: Дессо не стал класть людей на ту работу, которую я не успел с ним обговорить. Это два рейса к Валле, которые сходили без меня и оба с недоливом. И это восемнадцать дней до конца июля, когда сорок её черпаков кончатся и мы останемся при своих девяноста.

Я взял с собой Кисто, который неделю как вернулся от Валлы с тяги и ходил гордый, и мы просидели двое суток в двух чёлнах Кирны среди мешков с сушёной рыбой, и ничего не случилось.

Ровно ничего. Мы дошли до стоянки, там выменяли их рыбу на смолу, медь и две корзины бобов, переночевали и пошли обратно, и на обратном пути нас дважды обгоняли чужие, и оба раза это были люди, которые шли по своим делам.

Я сидел на носу чужого чёлна, смотрел на воду и думал, что вот так и выглядит выполненный договор: ты отдаёшь пять рабочих дней в разгар лета за то, чтобы не произошло того, что и так, скорее всего, не произошло бы.

А у третьего мыса мы всё-таки кое-что увидели.

Их было два, и они стояли под берегом, вытасканные носами на песок, в месте, где не живут и куда не заходят за водой. Низкобортные, длинные, на восемь и на десять вёсел, и на том, что побольше, лежал спущенный парус с широкой заплатой на нижнем углу — тёмная холстина на светлой, почти квадратом.

Людей я насчитал одиннадцать. Могло быть больше: половина была бы наверху, в тени. Костра не было, дыма не было, а песок перед носами был разбит ногами на добрых двадцать шагов, и это значило, что стоят они тут не первый день и уходить не собираются.

Я показал Хинно. Он посмотрел, сказал одно слово, которого я не знал, и, увидев, что я не понял, провёл рукой поперёк горла — не в смысле «убьют», а в смысле «отрежут», — и потом повёл ладонью вдоль берега.

— Ходят вдоль. И берут.

— Чьи?

Он пожал плечами.

Мы прошли мористее и не останавливались, и они не тронулись с места, и их люди даже не встали посмотреть.

Я запомнил заплату. Больше в тот день не запомнил ничего.

Мука пришла через пять дней после нашего возвращения, семнадцатого июля, и пришла она в полдень.

На мысу в тот день сидел Лаппо. Он выпросил себе смену ещё с вечера, выпросил громко, при всех, — после истории с сетью и после того, как он двое суток разносил гостям мясо, у него в голове завелось, что он теперь человек с должностью. Насса сказала, что он проспит. Он сказал, что не проспит. Спорили они минуты три, и берег слушал с удовольствием.

Он не проспал. Он прибежал вниз в полдень, по жаре, без шапки, и закричал ещё со склона, что идут двое, и что одна большая, и что это наша.

Я поднялся к нему сам, и мы легли на тёплый камень рядом.

Шла лодка Хуванду — я узнал её по посадке, по тому, как она несла, по обвязке на мачте, — и за ней в полуперехода шёл его же меньший чёлн. А дальше, за ними, у самого края, где вода перестаёт быть водой и становится дрожанием, стояло ещё что-то.

— Три, — сказал Лаппо.

— Посмотри ещё.

Он смотрел, наверное, полминуты.

— Две. Их две.

Мы спустились, и берег уже знал. Берег знал с той секунды, как Лаппо заорал со склона, и к моему приходу стоял у воды весь: сто четыре человека минус те, кто был наверху у ямы, и минус Ландо, который ходить не мог.

Я должен объяснить, почему они стояли.

Мы к тому дню шестую неделю жили на рыбе и варёном ячмене, и ячменя оставалось три мешка с небольшим на еду, не считая семенного, которого не тронули бы и под ножом. Ели мы его варёным, потому что молоть было нечем: зернотёрок на двадцать девять дворов

приехало две, очередь к ним стояла с утра, и очередь эта была причиной половины наших ссор. Варёный ячмень — еда, которой можно жить, и мы жили. Но человек, который шесть недель ест варёный ячмень с рыбой, на седьмой начинает думать о хлебе так, как думают о женщине.

Хуванду вёз муку. Тридцать мешков ячменной муки, шесть мешков зерна, два горшка смолы, бечеву и четыре медных тесла — и всё это было взято в долг под осень, под известь, которую мы ещё не жгли, и под сопровождение его рейсов моими людьми, которых у меня было двадцать два.

Об этом долге я в тот полдень не думал вовсе.

Порядок разгрузки я поменял, когда мы были уже на гальке.

Я хотел вначале обычного: подвести, обсушить, носить цепочкой наверх. Потом посмотрел ещё раз на те две точки позади и прикинул то, что прикидывается само: до них полтора часа хода, лодка садится на откос носом и снимается только пустой, а цепочка растягивает людей по склону так, что внизу у воды их оказывается вдвое больше, чем надо.

— Цепочка от воды до откоса, — сказал я Дессо. — Мешки на гальку не класть — класть сразу наверх, под скалой. И половину мужиков к воде не пускать вовсе: пусть стоят на откосе с тем, что у них в руках.

Дессо посмотрел на горизонт, ничего не спросил и пошёл ставить людей.

А вторая половина берега в это время уже бежала к воде.

Они бежали не из дурости. Они бежали потому, что лодка входила в бухту, и это была первая большая лодка с едой за шесть недель, и потому что у каждого двора в этом грузе была своя доля, записанная на моей плитке, и каждый хотел видеть свои мешки собственными глазами.

Я закричал, чтобы отошли от воды. Отошли человек пять.

Надо было не кричать, а выйти вперёд и загородить. На берегу крик работает только у того, кого уже боятся, а меня тогда ещё не боялись.

Хуванду подошёл хорошо и сел на галечный откос, как садятся все гружёные: носом на камень, кормой на воде, с креном на правый борт. Он был тяжёлый, сидел плотно и не двигался, и снять его с гальки можно было, только сняв с него мешки.

Хуванду перелез через борт, прошёл по воде, вышел на берег и первым делом обнял меня, и от него пахло смолой, рыбой и чужим берегом, и я в эту секунду был ему рад так, как давно никому не радовался.

— Ты живой.

— Живой.

— А мне на трёх стоянках сказали, что вас сожрали за воду.

Он был невысокий, широкий, лысеющий со лба, с очень быстрыми глазами, и он никогда в жизни не сказал мне ни одного слова, за которым не стояло бы дела. Он вёз нам муку в долг и при этом обошёл по дороге четыре стоянки, и на каждой спрашивал, живы ли мы, и на каждой прикидывал, отдадим ли.

Я сказал ему про две точки, пока мы шли от воды. Он обернулся, сложил ладонь козырьком и посмотрел.

— Идут за мной от второго мыса.

— Давно?

— Со вчерашнего вечера.

И вот тут мы поссорились, и поссорились мгновенно.

— Снимай людей с груза и уводи лодку с гальки.

— Нет.

— Пустую они не тронут. Гружёную возьмут вместе с людьми. Мешки сейчас стоят меньше, чем корпус.

— Мешки не мои.

И это была правда, и правда такого рода, о которую у меня всю жизнь ломались быстрые решения.

Груз был не его. Груз был наш, взятый в долг, и по их счёту он становился нашим в ту минуту, когда его снимут на берег, а до этой минуты он оставался на Хуванду, и, если бы он сейчас отошёл от берега с мешками и потерял их в море, платить за всё пришлось бы ему.

Ему надо было снять груз. Мне надо было убрать лодку.

Мы стояли друг против друга на гальке, и позади нас его гребцы уже выкидывали первые мешки через борт из рук в руки, и никто из них не ждал ни моего слова, ни его.

— Десять мешков.

Он посмотрел на меня.

— Снимаем десять, быстро, сколько успеем. Потом ты сходишь с гальки и стоишь на воде в двадцати шагах. Не придут — доснимем. Придут — ты на воде, у тебя корпус, и ты можешь уйти.

Он подумал ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы сосчитать.

— Пятнадцать.

— Двенадцать.

Он засмеялся и пошёл к лодке.

Мы сняли девять.

Наверх их не успели поднять. Люди растаскивали мешки к своим, цепочка распалась, и все девять остались ниже горла.

Мешков с мукой в его лодке было тридцать, и весили они по полтора пуда каждый, и брали их вдвоём.

Я сам таскал четвёртый, когда наверху, на откосе, закричал Каппо.

Каппо пришёл к нам за полчаса до этого, поверху, тропой, и привёл с собой Тирро и троих из бухты. У него пятую неделю была примотана к дощечке правая рука, и в море он выйти не мог, и тянуть не мог, и вязать не мог, и всё, что ему осталось на это лето, — сидеть на камне и смотреть на воду. Он делал это каждый день с рассвета и знал в лицо каждый парус, который прошёл мимо этого берега за пятнадцать лет.

Он сидел на откосе над вытяжкой, и с откоса ему было видно дальше, чем нам.

Он закричал, и Тирро побежал вниз, и я бросил свой мешок и обернулся к морю.

Они шли уже не за лодкой. Они шли на нас, шли на вёслах и разошлись в стороны, и на том, что побольше, я сразу увидел широкую тёмную заплату на нижнем углу спущенного паруса.

Дальше я расскажу без вранья: я всю прежнюю жизнь готовился к берегу и к воде, и это, в общем, единственное, что я умел по-настоящему, и тот бой я вёл плохо.

Начал я правильно. Я развернул людей от воды к откосу и поставил их не в линию, а в горло — туда, где галечный откос поджимает к скале и где подъём наверх идёт в три шага шириной. В этом горле нас было двадцать с небольшим, и в нём мы стояли бы хоть до вечера: заходить в него с боков было неоткуда.

Всё, что лежало ниже горла, я решил отдать.

Ниже горла лежали девять снятых мешков.

— Мешки бросить! — И потом ещё раз, громче, — меня не слышали: — Мешки бросить! Все наверх, в горло!

Наверх пошли шестеро. Остальные пошли вниз, к мешкам.

Пессо сел на свой. Туммо взялся за свой обеими руками. Двое из двора Марры встали каждый над своим, и стояли они не строем и не кучей, а по одному, и не отходили, и в этот момент я понял, что до сегодняшнего дня ни разу не сказал этим людям, что им позволено потерять.

Гуляев говорил: пока людям не названо, что бросают, они бросают вас. И называть это надо в спокойный день, потому что в шумный ваш голос будет одним из двадцати.

Мешок ячменной муки в июле — это двадцать дней еды на двор. Человек, у которого трое малых и у которого шесть недель варёный ячмень, не отходит от мешка, даже когда к нему идут с копьём, и объяснять ему, что жизнь дороже, можно только потом, когда всё кончится.

У меня было две секунды, и обе плохие: остаться в горле и смотреть сверху, как их берут поодиночке, или выйти. Горло держит дорогу, а не людей; людей, которые стоят вне его, оно не держит никак.

Я вышел.

Из меньшего чёлна прыгнули в воду семеро и пошли на берег поперёк, отрезая нас от снятых мешков. Из большего полезли через борт к Хуванду — не драться, а хватать: двое держали, четверо подавали. Это были не воины. Это были люди, которые делают своё дело каждый месяц и хорошо знают, сколько у них времени. Времени у них было мало, и убивать нас они не собирались: они собирались взять, сколько успеют, и уйти.

Из этого, собственно, и вышло, что берег мы отстояли. Но понял я это к вечеру, а в те минуты дрался всерьёз.

Первый вышел на меня из воды по бедро, с коротким копьём, держа его низко. Я шагнул ему навстречу — вода была мне по колено, ему по бедро, и это давало мне полсекунды, — принял древко на левое предплечье, ушёл вбок и ударил его ножом снизу под рёбра. Он сел в воду.

Я после этого лет пятнадцать помнил, что он смотрел не на меня, а куда-то мне за плечо, и что у него на шее висел шнурок с двумя просверленными раковинами.

Второй шёл на меня сбоку и по глубокому, и я не стал его встречать. Я поднырнул и взял его снизу за ноги, и он ушёл под воду весь, и я держал его там, стоя на дне, дольше, чем было нужно, и отпустил, когда он перестал упираться.

Потом я пошёл между лодками: оттуда подавали мешки.

Лодка Хуванду и их больший чёлн стояли борт к борту, и между ними была щель шириной в два локтя, и в этой щели плавали двое его гребцов, вывалившихся за борт, и один из них не плавал, а держался.

Я влез на борт своей лодки, прошёл по нему три шага и прыгнул на чужой. Борт у них был мокрый, я прыгнул с полного маха и поставил ногу на вывалившийся из порванного мешка комок муки, размокшей и скользкой, как жир.

Нога ушла. Я упал между корпусами.

Я знаю про это больше, чем хотел бы знать. Я работал на учениях под корпусами и знаю, что человека в такой щели убивает не удар, а то, что он пытается вылезти вверх. Вверх нельзя. Надо вниз и вбок, под днище, тремя гребками, и выходить с другой стороны.

«Товарищи курсанты. Между корпусами человека убивает не удар. Его убивает первая секунда, в которую он хватается за твёрдое. Твёрдое — это борт, и борт его и задавит. Вниз и вбок, под днище, три гребка. Вы это сейчас запомните и будете знать всю жизнь. А в ту секунду, когда понадобится, потянетесь к борту, потому что к борту тянется тело, а не вы. Поэтому мы это и повторяем сто раз, а не один».

Гуляев, второй курс, работа под корпусами. Я на том занятии был лучшим в отделении.

Я всё это знал и сделал ровно наоборот: схватился за борт и попробовал подтянуться — в первую секунду человек хватается за то, что твёрдое.

Чёлн качнуло, и меня прижало бортом к борту — не насмерть, потому что вода держит и корпуса сходятся мягко, но так, что у меня вышел весь воздух. Следующее, что я помню, — что я под водой, и надо мной темно, и я не понимаю, где верх.

Меня вытащил Тирро. Он влез на борт с той стороны, лёг на него животом, сунул руку в щель по плечо, взял меня за волосы и тянул до тех пор, пока я не зацепился за его руку своей.

Ему семнадцать лет, он весит как половина меня и не умеет ничего, кроме как ходить на чёлне и вязать сеть.

Дальше всё кончилось быстро. Они взяли семь мешков — шесть с берега и один прямо с борта, — и с этими семью пошли на вёслах в море, и уходили не торопясь и не оглядываясь, как уходит человек, закончивший работу.

Мы кричали им вслед и бросали камни, и камни не долетали.

Стоять на гальке и кидать камни в лодку, которая увозит твою еду, — занятие, которое я не рекомендую никому.

Первое, что я сделал, когда вылез, — сел. Я сел прямо в воду на мелком, потому что стоять не мог, и меня рвало водой, и надо мной стоял Тирро и что-то говорил, и я не слышал.

Потом я услышал, как кричит Касси.

Она кричала не потому, что что-то случилось с Ландо. Она кричала потому, что у неё в руках был Туммо и она не могла остановить кровь, а рядом никого не было, потому что все были у воды.

Туммо лежал на гальке у самой воды, на боку, и под ним уже натекло. Рана была в правом боку, ниже рёбер, узкая и длинная, и кровь шла из неё ровно и не толчками, и это было единственное хорошее, что я про неё мог сказать.

Я зажал её ладонью, потом сложенной тряпкой, потом велел держать Касси и держать сильно, и она держала, и Туммо всё это время был в сознании и молчал.

За весь тот час он сказал одну фразу, и сказал её, когда его поднимали на циновку:

— Мешок мой взяли?

— Твой остался.

Это была правда, и я до сих пор рад, что в этот раз мне не пришлось врать.

Когда его понесли, я встал и посмотрел вверх, на откос, — и увидел там Кисто с камнем в поднятых руках.

Их первый, тот, которого я ударил под рёбра, сидел в воде и не встал. Его оттащили на гальку — не я, оттащили Пессо с двумя другими, — и он там лежал, и было видно, что он жив, и было видно, что ненадолго.

А второй, тот, которого я топил, очнулся и попробовал ползти к воде.

Ему было лет шестнадцать. Худой, с обожжённой солнцем спиной, с верёвочным поясом, без обуви, и нож у него был не нож, а обломок серпа на обмотанной ручке.

Я не успевал добежать и поэтому закричал. Я закричал одно слово, и Кисто остановился.

Он стоял с камнем и смотрел на меня, и лицо у него было такое, какого я у него раньше не видел, и вокруг стояло человек двенадцать, и ни один из них не сказал Кисто ни слова ни до, ни после.

Я поднялся к нему и взял у него камень из рук.

— Они Туммо распороли.

— Знаю.

— И что?

И вот здесь мне надо было отвечать при двенадцати свидетелях, и отвечать быстро, и я ответил то, что было правдой, но не всей.

— Мёртвый он не стоит ничего. Живой — стоит.

Я сказал ещё, и это слушали уже внимательнее: что за него могут прийти и дать что-нибудь; что он видел их стоянку и знает, сколько их и откуда они ходят; и что человек, который у меня работает, стоит дороже камня.

Про то, что мне не хотелось, чтобы на моём берегу при детях добивали мальчишку камнем, я не сказал.

Мальчишку перевязали и посадили под скалу, привязав за ногу к камню, и первые две недели он ждал, что его убьют, и по ночам не спал.

Его звали Умпо.

Мешки со дна я доставал сам, и это был единственный час того дня, когда я делал то, что умею.

Вода между корпусами была мне по грудь, дальше, к северу, — по шею и глубже; дно каменистое, с плитами; видимость после драки — на вытянутую руку: мы подняли со дна всю муть, какая там была.

Мокрый мешок ячменной муки весит как небольшой человек и ведёт себя хуже: он не держится, он течёт. Я нырял и заводил под него петлю, а наверху тянули вчетвером.

Первые три поднялись в первые полчаса, и они были ещё мешками: снаружи схватилось корой в два пальца, внутри осталось сухое. Четвёртый я нашёл на глубине и поднимал вдвоём с Тирро, и он лопнул при подъёме, и мы вытащили полупустую тряпку. Пятый я искал до темноты и не нашёл.

Когда я вылез в последний раз, было уже темно, и на гальке у самой воды сидел Хуванду.

Он сидел рядом со своим гребцом, которого вытащил сам, вдвоём с кормчим, и которого убили в первую минуту, когда он держал борт и не видел, откуда бьют. Хуванду не помогал нам с мешками и не подходил к воде, и никто ему за это ничего не сказал.

Я сел рядом на корточки.

Мне понадобилось, наверное, с полминуты, чтобы сообразить, что я не знаю, как зовут этого человека. Он возил меня трижды. Он подавал мне руку на борт. Он ел с нами на Саринте.

— Как его звали?

Хуванду посмотрел на меня.

— Ларво.

Ему было под сорок. В Кукуни у него остались мать и сестра.

Мы посидели ещё, и он сказал, что второго гребца на его место взять негде и что обратно он пойдёт вчетвером вместо пятерых, а вчетвером против верхнего ветра он до Кукуни идёт не три дня, а пять.

Я сказал, что дам человека.

Он сказал, что возьмёт, и спросил, кого.

Я назвал Кисто. Кисто был у меня единственным, кого можно было отдать на чужую лодку и не объяснять потом, почему именно его; и он же был единственным, кто держал людей, когда меня нет, и цистерна в эти дни была вынута на треть, и мужиков у меня двадцать два, а теперь двадцать один.

Я всё равно сказал: Кисто.

Считали мы на следующее утро, при всех, у скалы, где Насса держит посуду.

Тридцать мешков. Девять было снято на берег до нападения; из них шесть они забрали, три остались. Из двадцати одного, оставшегося в лодке, один они взяли с борта, два ушли в воду при их погрузке, три сбросили наши, лезшие через груз. Итого: семь у них, пять в воде, восемнадцать целых. Из пяти в воде подняли четыре; три из четырёхгодились частью, один вытек; пятый остался в море.

Восемнадцать целых и три наполовину — это была наша еда до осени, и её стало меньше примерно на треть.

Считать это вслух было противно, но считать надо было вслух — иначе каждый двор считал бы сам, и каждый двор насчитал бы, что пропал именно его мешок.

А потом заговорил Хуванду.

— Я не буду считать помощь подарком, — сказал он. Он сказал это до того, как назвал хоть одну цифру, и сказал спокойно, и я понял, что он готовился к этому разговору всю ночь. — Я потерял человека, борт, весло и два дня. За человека я не прошу: за него я отдам его матери сам, потому что он мой. Я спрашиваю, чей был груз в ту минуту, когда его взяли.

И мы сидели и разбирали это полдня, и это был первый в моей здешней жизни разговор, в котором я ничего не понимал не из-за языка.

По их обычаю груз, который везут в долг, лежит на перевозчике, пока не ляжет на берег. Как только мешок положили на гальку — он твой, и, если его унесли с гальки, унесли твоё.

— Шесть — наши, — сказал я. Это я признал сразу и признал бы, даже если бы мог не признавать, потому что мы уже приняли их на берег.

— Один с борта — тоже ваш. Они пришли за вами, а не за мной.

— Они шли за тобой от второго мыса.

— Они шли за грузом. А груз шёл к вам.

Мы препирались об этом с час, и за этот час я узнал про здешнюю торговлю больше, чем за весь предыдущий год.

Разошлись так. Шесть — наши. Один с борта — его. Два, ушедшие в воду при их погрузке, — пополам. Три, сброшенные нашими, — наши: сбрасывали наши, хоть и не по дурости. Из пяти намокших мешков на наш счёт легли четыре: три, сброшенные нашими, и половина двух, ушедших в воду при погрузке. Спасённые полтора мешка входили в эти четыре, второй раз их не считали.

Так что в яме у нас лежало восемнадцать целых и три битых, а в долг записалось двадцать восемь, и разницу эту я велел Нассе вести двумя строками, чтобы никто и никогда не путал то, что мы едим, с тем, что мы должны.

Тисса вошла в разговор один раз и вошла не в счёт мешков.

— Кто будет кормить двор Туммо?

У Туммо жена, трое своих и один взятый, восточный, и сам он лежал под навесом с зашитым боком и в тот день ещё не пил.

Я начал говорить, что его мешок остался при нём и что двор не обижен.

— Мешок кончится через двадцать дней. А он будет лежать сорок. И это ещё хорошо.

— Значит, будем кормить из общего.

— Скажи это сейчас, при всех. И скажи, сколько и до какого дня, и пусть Насса запишет.

— Через десять дней я сам про это вспомню.

— Через десять дней это будут делать по доброте. По доброте делают три дня.

Я сказал, и Насса записала. Двор Туммо получал полную долю на шесть ртов, пока он не встанет, и получал не как милость, а как долг поселения. В тот же счёт я велел записать двор Пессо за два удара древком по спине, и Пессо, когда узнал, пришёл и сказал, что ему не надо: он на третий день уже работал.

Я велел записать.

За долей двора Туммо пришла его жена, и пришла она на третий день, уже к вечеру, когда у посуды никого не было.

Я знал её в лицо и не знал по имени. Она была младше его лет на десять, худая, с тем неподвижным лицом, какое бывает у женщин, привыкших, что за них говорят.

Она подошла, встала в четырёх шагах и ничего не сказала. Насса подняла голову, отсчитала на шесть ртов и поставила перед ней. Та не взяла.

— Это записано, — сказала Насса. — Не моё даю.

— Я знаю, что записано.

Она постояла ещё.

— Он бы не взял.

— Он лежит. Лежачие не берут. Берут за них.

Женщина забрала и понесла, и на полдороге остановилась и переложила из руки в руку, хотя переключивать там было нечего.

А через неделю она пришла сама и сказала Нассе, что её старшая девка будет носить воду от расщелины вместо тех, кто носит, и будет носить каждый день, пока отец не встанет, и что записывать это не надо.

Насса записала.

Хуванду простоял у нас ещё сутки — чинил борт и ждал, пока ему сделают весло взамен треснувшего, — и увозил Ларво на третье утро.

У них покойника не оставляют на чужом берегу, если есть чем везти, и Хуванду вёз его домой: в Кукуни мать, а мать должна видеть. Его положили в меньший чёлн, на дно, между шпангоутами, обложили мокрой водорослью и накрыли парусиной, и Хуванду сам подтыкал ей края, и делал это медленно и обстоятельно, как подтыкают груз, который не должен ездить.

Весло его осталось у нас. Оно треснуло у валька, когда он им упёрся в чужой борт, и чинить его было незачем, и никто не решился ни выбросить его, ни взять. Его прислонили к камню у северной скалы, там, где Хуванду складывал своё, и оно там и стояло.

Наши спустились к воде все. Стояли молча, и это было единственное, что мы могли ему дать: у нас не было ни соли на дорогу, ни масла, ни целого горшка. Марра вынесла из своего навеса кусок полотна, из тех, что берегла на зиму, и положила в чёлн, не говоря ни слова, и Хуванду посмотрел на этот кусок дольше, чем на шесть моих пластин.

Пластины я отдал ему накануне, и это были последние шесть, какие у меня были. Я отдал их за Ларво, его матери и сестре в Кукуни, и сказал, что это не плата за человека, потому что за человека платить нельзя, а подарок его дому от берега, на котором он погиб.

Хуванду взял и, по-моему, не ожидал.

А Валле я после этого был должен пятнадцать пластин за воду и не имел ни одной, и это я понимал ровно в ту минуту, когда их отдавал.

А когда они отошли, Касси сказала мне — тихо, себе под нос, но я стоял рядом:

— Он в день прихода просил у меня воды, ещё до драки, и я дала ему полчерпака и сказала, что больше нельзя.

Я ответил что-то про норму. Она посмотрела на меня так, что я замолчал, и пошла наверх, к мужу.

Тот, которого я ударил ножом, умер ночью.

Его закопали утром выше линии прибой, и Нирто, узнав об этом через день, пришёл и сказал, что там нельзя, и мы перезакапывали, и в этой истории не было ничего величественного.

Ещё до отхода Хуванду попросил своё. Он попросил место — кусок берега под скалой на северной стороне бухты, там, где сухо и где не достаёт прибой, под навес для своего груза, и право держать этот навес закрытым, и право чинить там лодки, и чтобы за это место с него не брали доли, пока он возит сюда в долг.

Я согласился в ту же минуту.

Согласился я слишком быстро, и понял это тем же вечером, когда Насса, записывая, спросила, на сколько лет, и я не смог ответить.

Место это с тех пор называется Хувандова скала.

В бухту Валлы я отправил два мешка муки. Не в уплату: возмещение за сеть и руку мы уже отделили от платы за воду; пятнадцать пластин за воду оставались за мной. Я отправил их за то, что Каппо закричал с откоса на полминуты раньше, чем мы увидели сами, и за то, что Тирро вытащил меня из-под борта.

Валла мешки приняла так же, как принимала всё: посмотрела, спросила, сколько, и велела занести в дом, и потом при мне же отдала один из двух той самой двоюродной сестре Каппо, у которой на руках старики.

Про Тирро она не сказала ничего.

А Тирро в этот день ходил по нашему берегу с таким лицом, что его хотелось стукнуть, и к вечеру уже показывал детям, как именно он держал меня за волосы, и показывал на Лаппо, и Лаппо орал, что за волосы не считается.

Пекли в тот же вечер.

Сначала пекли не из подмоченной, а из целой: мокрое надо было сушить, и сушить его собирались два дня на всех плоских камнях, какие есть.

Первые лепёшки получились плохо. Печей у нас не было — были две ямы и раскалённые камни, — и первые три десятка мы сожгли снизу и не пропекли сверху, и сожгла их Марра, которая взялась за это первой и никому не уступала, и ей за это высказали все, кто ждал.

Потом приспособились.

Я не буду описывать, как они пахли. Скажу только, что дети в тот вечер ели стоя и никто их не сажал.

Мокрая пошла со второго дня, и она была другая. Она не пропала — то, что схватилось коркой снаружи, внутри осталось сухим, и мы это разбили, просушили на камнях и смололи заново на двух зернотёрках, и очередь к ним в те дни стояла с рассвета. Но вкус у неё был. Солёной она не была: морская вода входит в мешок по краю и дальше не идёт. Она была тяжёлая, чуть кисловатая, с землистым духом, и в ней попадался песок: мешки лежали на дне и мы их волокли по камням.

Песок был главной бедой. Песок ничем не выберешь, он скрипит на зубах, и через неделю от него у всех болели зубы.

Старуха из дома Тавы объявила, что эта мука отдаёт покойником: лежала в воде рядом с убитым. Насса сказала, что покойник лежал в тридцати шагах и с другой стороны и что если старуха не хочет, то пусть отдаёт свою долю ей.

Старуха свою долю не отдала.

А северный конец бухты, тот, где стояли борт к борту два корпуса, наши обходили до самой осени. Не сговариваясь и не объясняя. Просто чёлны с того дня вытаскивали южнее, хотя южнее галька круче и тащить тяжелее, и когда я в августе спросил зачем, мне ответили, что там удобнее.

История про то, как я нырял, к третьему вечеру перестала иметь ко мне отношение.

В первый вечер рассказывали правильно: поскользнулся на муке, упал между лодками, прижало бортом, вытащил Тирро. На второй день в ней появилось, что я прыгнул туда сам. На третий — что я прыгнул туда за мешком. К концу недели Лаппо рассказывал приезжим, что Курса нырнул между лодками, вытащил оттуда двух ихних, вынес их на берег под мышками и потом достал со дна все мешки за один раз.

Я слышал это трижды и трижды поправил, и после третьего раза Тисса сказала мне, чтобы я перестал.

— Пусть рассказывают.

— Это враньё. Через год мне это вернётся.

— Вернётся. И пусть.

Я до сих пор не люблю, что она была права. Человеку, у которого сто четыре человека и двадцать два годных мужика, нужно, чтобы про него рассказывали лишнее. Это дешевле стены и работает быстрее.

А пока на берегу пекли хлеб, и впервые за шесть недель ели досыта, и я сидел у второй ямы, ел подгоревшую лепёшку с песком и слушал, как у первой ямы в четвёртый раз рассказывают, как я нырял.

К Туммо я зашёл поздно.

Он лежал на левом боку — на правом было нельзя, и у него третий день держался жар, и его жена сидела рядом и меняла ему тряпку на лбу, и рядом на циновке спали двое младших.

Он не спал. Повернул голову, когда я вошёл, и посмотрел, и я сел рядом на корточки.

— Сколько?

— После двух мешков в бухту — шестнадцать целых, три наполовину.

Он полежал, прикидывая.

— До августа хватит.

И тут он, кажется, сам услышал, что сказал, потому что «до августа» было его словом: он сказал его в третий день, когда снял свои мешки с тропы и объявил при всех, что посмотрит до августа, и весь берег это слово помнил.

Он усмехнулся одной половиной лица: вторая была в подушке.

— Теперь я до августа никуда.

Он пролежал сорок два дня.

А в ту ночь я вышел из-под его навеса, постоял и посмотрел вниз — на берег, на четыре огня, на людей, которые доедали и переругивались у ям.

Их надо было собрать и сказать им одну вещь, и я знал какую, и знал, что сегодня её никто не услышит: сегодня они ели хлеб.

Я собрал их через неделю, когда первые мешки кончились и есть стали ровно столько, сколько отмеряют.

Говорил я недолго.

Я сказал, что в тот день я велел бросить девять мешков и что бросили их шестеро, а остальные встали над своими. Я сказал, что не виню никого, потому что ни разу до того дня не сказал этим людям, что им позволено потерять, а человек, которому не сказали, защищает всё подряд и начинает с того, что у него в руках.

Потом сказал то, ради чего собирал.

— Если с моря придут ещё раз, всякий, кто станет над своим мешком, останется над ним один. Я за ним не приду. И никого за ним не пошлю.

Берег молчал.

Я ждал, что заговорит Марра, или Пессо, или старуха из дома Тавы, — и они молчали, и молчание это было не согласиём, а тем молчанием, каким встречают слова, которые нечем проверить.

Потом Пессо спросил:

— А как узнать?

— Что узнать?

— Когда бросать. Ты стоишь наверху и видишь, а я стою внизу и вижу мешок. Ты крикнул — я не понял, что ты крикнул мне. Все кричали.

Я начал объяснять, что буду называть, что оставляем.

— Это ты будешь называть потом, — сказал он. — А тогда ты был в воде.

Я на это не нашёлся.

Ответ придумал он же, и придумал его через три дня. Он приволок от вытяжки плоскую плиту в локоть, подвесил её на двух верёвках у камня Стол и ударил в неё обухом, и звук вышел сухой и короткий, и его было слышно от воды до седловины.

Два удара — все сюда. Три — чужие.

Я к этому не добавил ничего, кроме того, что заставил их бить в неё дважды за август и один раз в сентябре, среди бела дня, и все три раза берег ругался, что его гоняют зря.

Глава 5 "Северный ветер"

Глава 5. Северный ветер

Верхний ветер пришёл в тот год девятнадцатого июля.

Я знал про него всё, что положено знать человеку, который двенадцать лет выходил в море по чужому расписанию: северный, сухой, ровный, к полудню встаёт, к ночи ложится, в конце августа начинает сдавать и к середине сентября выдыхается. Здесь его зовут верхним: он приходит сверху, и при нём горизонт поднимается и вода стоит выше берега.

Тисса называла его иначе.

Она сказала мне про него ещё в мае, на Саринте, когда я в третий раз спросил, когда она родит. Мне нужно было число. Числа у неё не было.

— Через ветер.

Я тогда решил, что это обычная здешняя неточность — вроде «когда пойдёт рыба» или «когда станет холодно», — и посчитал сам: начало ноября, значит, конец августа, и записал себе конец августа, и был очень доволен, что хоть это у меня есть в цифрах.

Вышло, что мы назвали один и тот же день. Просто я назвал его числом, а она погодой, и её способ работал не хуже.

Двадцать шестого августа ветер шёл тридцать девятые сутки.

Я к тому времени уже понимал, почему местные считают время им, а не днями. Тридцать девять дней подряд одно и то же: песок в еде, песок в воде, песок в постели; тряпка на входе, которую надо подтыкать камнем; дверь, которую я трижды переделывал и которая всё равно хлопала; сеть Каппо на кольях наверху, бьющая по ночам, как чужая лодка о борт.

За эти тридцать девять дней мы построили дом.

Дом — это громко. Четыре стены сухой кладки в полтора моих роста, длиной шагов в шесть, с проходом в торце и одним отверстием под крышей на юг; жерди, тростник, поверх тростника глина; пол выбран на ладонь и промазан, и промазали мы его плохо, и Тисса об этом говорила всё лето.

Ставил его Санно с двумя работниками за восемь дней, и ставил он его третьим — сначала поставил дом Марре с её тремя, потом двор Пессо, а потом уже нас, и очередь эту назначил не я, а он, и объяснять мне ничего не стал. Я спросил один раз. Он сказал: «У тебя крыша есть». У меня была тряпка на жердях.

Про Марру надо сказать отдельно: в июле она при всех объявила, что уходит, и весь берег это слышал.

Августовской лодки не случилось. Хуванду ушёл вдоль цепи на восход и обещал вернуться в сентябре; Пиясса в это лето шёл на восход же и к нам собирался только к осени; на Саринт от нас в августе не пошёл никто и никуда. Я сказал ей это, как только сам убедился, и сказал при Нассе, чтобы потом не было разговора, что я тянул.

— Значит, сентябрьская, — сказала она.

Она это сказала, вытирая руки, тем же голосом, каким говорила всё остальное, и я не стал спрашивать, и она не стала объяснять. А через неделю Санно поставил ей дом первым из всех, и она его приняла, и въехала, и вымазала пол лучше, чем у меня, и ни разу с того дня про лодку не заговорила.

Я думаю, дело было не в доме. У неё трое малых и племянники, которых всё время забирают на общую работу, и три недели подряд весь берег носил за неё камень — так назначил каменщик, у которого была своя очередь и свои соображения. От такого не уезжают в сентябре.

Но спрашивать я её об этом не стал ни тогда, ни потом.

С водой к концу августа было так.

Наш приток стоял на ста двух черпаках, и это была не прибавка, а то, что мы отняли у камня. В июле Дессо подрезал серую полку на четыре шага в обе стороны от щели и вывел воду в лоток, выбитый по камню и промазанный глиной, и мы перехватили то, что раньше уходило в трещину и терялось под осыпью. Сама щель в это время садилась, как я и обещал в июне: к концу августа она давала меньше, чем в первую неделю, и лоток только держал нас на ста двух вместо восьмидесяти.

У Валлы мы брали двадцать пять.

Договор до тридцать первого июля я поехал продлевать двадцать восьмого, поехал сам и взял с собой Нассу с плиткой: торговаться надо было не словами. Валла выслушала, сходила к

чаше, посмотрела на свою отметину и сказала «двадцать пять», и по тому, как она это сказала, я понял, что двадцать пять — это уже за счёт её собственных.

— До конца сентября. Потом дожди, и тогда разговаривать будем заново.

Платить было нечем. Обсидиана у меня не осталось ни пластины, и пятнадцать за воду я был ей должен с июня, и она про этот долг не забыла и назвала его первым.

— Пятнадцать пластин стоят.

— Стоят.

— Чем отдашь?

Я предложил муку. Она подумала и взяла: мешок в месяц за воду, и ещё восемь рабочих дней осенью — на её чаше, на подмазке и на подходе к ней, и работать должны были не мальчишки, а те, кто кладёт камень. Пятнадцать пластин она оставила в своей строке и сказала, что возьмёт их обсидианом, когда он у меня будет, и что ждать умеет.

Сто два и двадцать пять — сто двадцать семь. Нужно было сто тридцать.

Три черпака разницы мы добирали недоливом. Насса с августа лила не до зарубки, а на палец ниже, и весь берег про это знал, и ей про это говорили каждый день, и она каждый день отвечала одно и то же:

— Хочешь до зарубки — иди отними у Ландо.

Вечером двадцать шестого Тисса решила домазать пол.

Она не могла лечь. Ложилась, вставала, садилась на корточки, ходила от стены к стене четыре шага туда и четыре обратно, а потом села у прохода, притянула к себе корзину с глиной, которую я неделю не относил, и начала.

— Домажу сам.

— Ты мазал дважды. И оба раза оставил бугор у порога.

— Бугор у порога — это чтобы не затекало.

— На этом бугре спотыкается каждый входящий. Через несколько дней сюда будут входить чужие бабы с горячей водой. Если одна из них полетит с горшком на меня, виноват будешь ты, а не бугор.

Я сел и стал разводить глину.

Пока разводил, я рассказывал ей про завтра. Завтра я собирался в Кирну: Ламмо восьмой день ждал от меня человека посмотреть с ним место под печь для извести — свою известь мы всё ещё не жгли, а для будущей ограды Санно требовал наладить обжиг заранее, — и, кроме печи, там была десятая корзина, которую мы по договору отдаём с августа и по которой у них уже были другие мысли.

Идти было поверху, часа четыре, с ночёвкой. Со мной шли Кисто и двое. Я объяснял ей, почему беру Кисто, хотя после истории с камнем на берегу брать Кисто в чужое селение было решением, требующим объяснения.

Она слушала, а потом перестала слушать.

Она сидела, упёршись обеими руками в пол позади себя, и смотрела в проход, и я, кажется, ещё договорил фразу до конца, прежде чем сообразил.

— Началось?

— С утра.

— С утра?

Она сказала, что с утра тянуло, и что тянуло неправильно, не так, как тянет всё лето, а по кругу, от поясницы вперёд, и что сначала это было редко и она не стала говорить: я бы отменил выход, а выход был нужен.

Тут схватка её взяла, и она замолчала, и молчала секунд сорок, и это было первое, что я про это дело понял: они не кричат вначале. Они замолкают.

Потом выдохнула.

— Теперь можно и сказать. Теперь всё равно не отменишь.

— Иду за бабами.

— Сядь.

Мы просидели до темноты, и я считал.

Ничего другого делать я не умел, и, надо сказать, в ту ночь это оказалось единственным моим по-настоящему полезным умением. Я отмечал начало по вдоху — она набирала воздух и переставала отвечать — и конец по тому, как расходились плечи. Сначала выходило раз в четверть часа и меньше чем на полста ударов. К темноте — раз в десять минут.

Я сказал ей это вслух.

— Зачем?

— Если знать, как идёт, можно понять, сколько осталось.

— Осталось до утра или до следующего вечера. Это знает любая баба без всякого счёта.

— Она подумала. — Мне твой счёт сейчас ничем не поможет. Но пусть, если тебе легче.

Мне было легче.

Она доделала полосу у порога, я снял бугор, и, когда совсем стемнело и ветер, как всегда, начал ложиться, я вышел и пошёл за Ситтой.

Ситта была из двора, пришедшего с нами с восточного края острова; ей было под шестьдесят, она была сухая, мелкая, с руками, как корни, и на берегу её не любили за язык. Это она в июле объявила при всех, что поднятая со дна мука отдаёт покойником, и это ей Насса тогда предложила отдать свою долю, и весь берег две недели повторял эту историю, и старуха её помнила.

Я пришёл к ней в её двор, под навес, и она уже сидела и уже обувалась.

— Марра пошла к тебе.

— Откуда ты знаешь?

— Касси днём видела, как она ходит от стены к стене. Я тогда же велела Марре посмотреть за очагом с вечера. — Она подняла голову. — Не стой в проходе. Через него надо выйти.

Я посторонился.

Тирро в ту ночь ночевал у нас — он с нашими третий день вязал новое полотно и не успел вернуться к себе, — и я разбудил его и отправил поверху за матерью, и он ушёл в темноту с головнёй, не задав ни одного вопроса.

В доме к моему возвращению было уже три женщины и ни одного свободного места.

Марра растапливала. Касси таскала. Ситта стояла над Тиссой и держала её за локти, и Тисса стояла, согнувшись, упёршись лбом ей в плечо, и обе молчали.

Я начал распорядиться. Я сказал, что нужно кипятить воду. Что тряпки — все, какие пойдут в дело, — надо прокипятить и потом не класть на землю. Что руки перед тем, как трогать, моют, и моют долго, и я сам покажу, как. Что надо вынести зерно: оно занимает угол, а угол понадобится.

Ситта выслушала всё это, не поворачивая головы. Потом сказала Касси:

— Вынеси зерно.

И больше ни на одно моё слово в ту ночь не ответила.

С водой вышло хуже. Я пошёл к запасным горшкам у расщелины и сказал Дессо, что беру три черпака сверх выдачи.

— На что?

— Кипятить.

— Зачем кипятить воду, которую всё равно выльют?

И я стоял перед ним в темноте у горшков и объяснял человеку тридцати восьми лет, который похоронил двоих своих детей, что в горячей воде умирает то, чего не видно, и что если тряпку прокипятить, женщина реже умирает на третий день после родов.

Он дал три черпака.

Он дал их не потому, что понял. Он дал, потому что это просил я, а я в июле нырял за его мешками; и это, если по-честному, единственный вид доверия, который у меня тогда был.

Гуляев называл это счётом доверия: он у вас один, пополняется медленно, и всякий раз, когда вас слушаются не потому, что поняли, вы с него снимаете.

Кипятили в двух горшках у соседнего очага, во дворе Ландо: в доме не было места. Прокипятили все восемь тряпок, и это были не тряпки, а разодранная на полосы старая одежда, и другой чистой ткани на берегу не нашлось бы даже за медь.

Ситта не спорила ни секунды.

Я потом понял почему: горячая ткань у них и так в деле, её кладут на живот роженице и на новорождённого, и она просто не увидела в моём требовании ничего нового. Она увидела, что мужик носит воду и таскает горшки, и это её устраивало.

А про руки она мне ничего не сказала. Она вымыла их сама, у порога, когда пришло время, и вымыла тщательно, и я стоял рядом и смотрел, и до сих пор не знаю, сделала она это потому, что так делают всегда, или потому, что слышала меня с вечера и не пожелала это признать.

Спрашивать я её не стал.

К середине ночи меня выставили.

Я сам виноват. Я влез в третий раз — Тисса стояла на коленях, держась за жердь, которую я же вбил под крышу, чтобы вешать сеть, и мне показалось, что жердь идёт, — и я полез эту жердь проверять.

Марра взяла меня за плечо обеими руками и развернула. Марра — вдова, у неё трое своих и двое племянников, она ростом мне до груди и весит, наверное, как Тирро. Она развернула меня и вывела в проход, и сказала в спину одну фразу, которую я хорошо разобрал: она говорила медленно, как говорят с ребёнком и с чужим:

— Ты здесь лишний. Иди делай своё.

И задёрнула тряпку.

Своего у меня было немного. Кисто с двумя сидели собранные, с мешками, — они должны были выходить на Кирну до света, — и я сказал им, что не идём; Кисто спросил, идти ли им одним, и я подумал и сказал, что нет: четверо наших в чужом селении без меня — это одно, а трое с Кисто — совсем другое.

Так мы просрочили Ламмо девятый день.

Потом я проверил пост. Потом сходил к расщелине и полчаса смотрел, как из лотка идёт вода, и досмотрел до того, что Дессо подошёл и спросил, всё ли в порядке дома.

Потом я вернулся во двор Ландо и сел — больше идти было некуда.

Ландо сидел там с июня.

Ему на третий день, на той самой выемке, завалило ногу, и нога срослась криво, и он к концу августа ходил — с палкой, боком, шагов на сто, — но работать не мог, и всё лето просидел у своего очага, строгая, вяжа и командуя детьми. На левое ухо он с того дня не слышал ничего, и все на берегу знали, что к нему подходят справа, и всё равно половина подходила слева и потом сердилась.

Он подвинулся и дал мне место у стенки.

— Первая долго.

— Сколько долго?

— У нас первая шла от утра до утра. Вторая — полдня. Третий вылез сам, пока она несли воду; она его в подоле и принесла.

Он рассказал это спокойно, как рассказывают про погоду, и потом добавил, что детей у них родилось четверо, а выжили двое, и это тоже сказал спокойно, и я не стал спрашивать.

Я взял у него нож и стал доделывать то, что он строгал.

Мы просидели всю ночь. Через двор ходили. Касси выносила и приносила. Умпо — тот мальчишка с обломком серпа, который к августу носил у нас воду и спал под скалой уже без верёвки, — таскал горшки и бегал к расщелине, и в какой-то час я поймал себя на том, что жду его появления из-за угла, как жду вестового.

В доме то говорили, то молчали. Дважды оттуда крикнули. Оба раза коротко.

Сеть Каппо наверху не была: ветер лёг с темнотой, как он ложился тридцать девять ночей подряд, и было слышно море и было слышно, как в доме переставляют горшок.

Часа через два после полуночи я перестал понимать, что происходит.

До этого я хоть считал схватки — по голосу, через стену, — и выходило, что идёт как надо, чаще и дольше. А потом они разошлись.

Я отсчитал двадцать минут между двумя. Потом ещё двадцать.

В доме стало тихо, и в этой тишине принялись разговаривать: ровно, негромко, тремя голосами, и слов я не разбирал, и по тону тоже не понимал ничего: здешние бабы точно так же ровно и негромко разговаривают, когда чинят сеть.

Я встал и пошёл к проходу.

— Сядь, — сказал мне в спину Ландо.

Я сел.

Вот тогда, сидя на утоптанной земле у чужого очага и слушая, как Касси третий раз за час скребёт горшок песком, я вспомнил кухню.

Кухня была на седьмом этаже, окно на север, и в четыре утра в окне был не свет, а такая серая вода, как здесь перед рассветом. Мать вставала в четыре: уходила она в пять. И сначала холодильник, потом чайник, потом вот это: она скребла сковороду песочком из жестянки — никаких других способов она не признавала, и звук был ровно тот же.

Я слышал этот звук восемнадцать лет подряд из-за стены и всегда просыпался и никогда не вставал.

А здесь встал бы. И пошёл бы туда, и сел бы за стол, и спросил бы, как она.

Вот и всё воспоминание. Оно длилось столько, сколько Касси скребла горшок, и кончилось, когда она вылила воду.

Валла пришла в начале третьего часа ночи.

Она пришла поверху с Тирро, по тропе Нирто, в темноте, с головнёй, за четыре часа, и принесла с собой свёрток и свой горшок, и вошла в дом, не сказав мне ни слова, — а я стоял ровно в проходе, и она меня обошла, как обходят столб.

Тирро сел рядом со мной, вытянул ноги и сказал, что она собралась за то время, пока он пил воду.

— Что взяла?

— Масло, траву, нож и тряпки. Горшок свой. Чужим не берёт.

Потом он сказал, что в бухте всех принимает она, и что на берегу она главная по этому делу лет двадцать, и что его самого принимала не она, а старуха, которой теперь нет, потому что своих у них принимать не садятся.

И потом замолчал и просидел со мной до конца, и я за ту ночь ни разу не услышал от него ни одного вопроса, а ему было семнадцать.

Через полчаса после Валлы из дома вышла Насса.

Она вышла, села передо мной на корточки, чтобы быть на одном уровне, и сказала, что мне надо послушать.

— Встало.

— Как встало?

— Схватки разошлись и ослабли. Так бывает. Она устала и легла, а лежать нельзя. Её подняли и водят, и будут водить. Если не пойдёт — дадут отвар и поставят на колени.

Я спросил то единственное, что хотел спросить с вечера.

— Пока оба живы. За Тиссу сейчас не бойся. Я тебе это говорю не в утешение.

Потом добавила, что Валла велела передать мне, чтобы я перестал стоять в проходе: оттуда дует.

Водили её, как потом сосчитали, около часа.

Я этого не видел. Я сидел за стеной и слышал шаги — четыре в одну сторону, четыре в другую, — и голоса, и как один раз что-то упало и покатилося, и как Марра засмеялась.

А ещё я слышал, как они поспорили. Спорили Ситта и Валла, коротко и на два голоса, и спорили дважды: один раз, когда Валла только вошла, и второй раз позже, когда водили. Я не разобрал ни слова и до сих пор не знаю, о чём это было — об отваре, о том, ставить или не ставить, или о чём-то, чего я вообще не могу себе представить.

Я сидел снаружи и очень хотел, чтобы там был кто-то один. Мне тогда впервые пришлось в голову, что две женщины, каждая из которых знает своё дело двадцать лет, могут знать его по-разному, и что выбирать между ними будет не тот, кто умнее, а та, которая упрямее.

Потом шаги кончились, и через какое-то время всё началось снова, и на этот раз по-другому — теперь она не молчала.

Дальше было ещё около полутора часов, и я про них помню мало.

Помню, что Ландо в какой-то момент уснул сидя и уронил голову, и я снял с него палку, чтобы не упала в очаг.

Помню, что Умпо принёс воду и не ушёл, а сел в стороне на корточках и просидел так до утра, и что я тогда впервые подумал о нём не как о взятом в бою мальчишке, а как о человеке, который у меня живёт.

Помню, что дважды приходил Дессо и оба раза молча.

Помню, как Марра вынесла и выплеснула воду, и вода была не такая, какой я её представлял.

И помню, что перед рассветом стало очень тихо: ветер ещё не встал, а море к этому часу садится, и в этой тишине, когда небо над седловиной уже отделилось от камня, в доме закричал ребёнок.

Меня не пустили ещё долго. Я стоял у прохода и слушал, как там работают, и по тому, как работают, было понятно, что кричать никто больше не собирается. Потом Касси вынесла что-то в горшке и унесла в темноту. Потом вышла Ситта, села на камень у стены, вытянула ноги и сказала — не мне, а вообще, — что хочет есть.

Я спросил.

Она посмотрела на меня снизу вверх.

— Девка. Обе живые. Иди, только руки вымой.

И вот на этом месте я стоял, наверное, секунд пять и соображал, кто ей это сказал про руки.

Никто ей этого не говорил. Она просто с вечера видела, как я мою.

«Товарищи курсанты. На чужом участке ваше знание никому не нужно, пока оно у вас во рту. Объяснять будете дома. Здесь вы делаете это сами, каждый день, у них на глазах, и молчите. Через месяц они станут делать так же и будут думать, что делали так всегда. А если вам непременно нужно, чтобы помнили, что научили их вы, — значит, вы приехали не работать, а отмечаться».

Гуляев, четвёртый курс, работа с местным населением. Я тогда записал это и подчеркнул, потому что мне понравилось, как сказано.

В доме пахло кровью, дымом, маслом и ещё чем-то, чего я раньше не знал.

Тисса лежала на подстилке у дальней стены, укрытая до груди, и была серая. Не бледная — серая, с тёмными губами, и волосы у неё были мокрые и прилипли ко лбу и к шее, и её мелко трясло.

Я сел рядом и взял её за руку, и рука была холодная.

— Не пугайся. Это так и должно.

Я посмотрел на Валлу. Валла кивнула.

За всю мою прежнюю жизнь я видел кровь чаще, чем следует, и почти всегда знал, что с ней делать, и почти всегда мог что-то сделать. В то утро я сидел на полу собственного дома и не мог сделать ничего, кроме как держать за руку и слушать, как три чужие женщины между собой решают, достаточно ли того, что есть.

Ситта сказала — уже с порога, с едой в руках, — что до полудня кто-нибудь будет сидеть в доме и чтобы я не выдумывал.

Ребёнка мне дали не сразу. Её сначала обтёрли, замотали и положили Тиссе, и она полежала там, и Тисса подвинула её к груди, и они какое-то время занимались этим делом вдвоём, и у них не получалось, и Валла им помогала.

Потом Тисса сказала:

— Возьми.

И Валла переложила мне её на руки.

Я скажу честно: я испугался. Не за неё — за то, что она у меня в руках. Мне давали в руки много всего, что нельзя ронять, и ни разу ничего похожего.

Она весила как небольшая рыба.

У неё была вытянутая сдавленная голова с мягким темечком, красное в пятнах лицо, приплюснутый нос, сморщенные веки и чёрный пух на макушке. Ногти на руках были совершенно настоящие, и это почему-то поразило меня больше всего остального.

Она была страшненькая. Я, помню, ждал, что мне станет хорошо, и мне не стало — мне стало очень внимательно, как бывает под водой, когда осталось мало воздуха и всё делается медленно и отчётливо.

Хорошо мне стало позже, через день или два, и без всякого повода: я шёл от расщелины с двумя горшками и вдруг встал посреди тропы.

Имя она назвала сама. Она смотрела на неё у меня на руках и сказала:

— Тавва.

Я ничего не сказал. Она сказала имя один раз, не объясняя, и второй раз произнесла его уже вечером, обыкновенным голосом, как зовут.

Я только кивнул, и по её лицу увидел, что кивнуть было правильно.

А потом я пошутил.

Я держал её на руках, смотрел на этот приплюснутый нос, на щёки, на то, как она, не открывая глаз, коротко и быстро водит головой, будто что-то высматривает, — и сказал вслух:

— Она похожа на Хуванду.

Валла у очага замерла с горшком.

Тисса открыла глаза и посмотрела на меня так, как смотрят на человека, которого сейчас выгонят из собственного дома. Она была серая, она всю ночь рожала, она ещё не спала, и я ей в этот момент сообщил, что её дочь похожа на лысеющего перевозчика из Кукуни.

— Уйди.

— Смотри сама.

И она посмотрела — и посмотрела вторично, и вот тут её взяло. Она засмеялась, и смеяться ей было нельзя — тянуло низ, и она прижала руку и смеялась сквозь это, и ругалась на меня, и снова смеялась, и Валла на нас обоих зашипела.

Тисса этого потом не забывала. Хуванду, к слову, узнал об этом в сентябре и страшно обрадовался.

Потом она сказала:

— Дай поспать.

Я забрал Тавву, Валла показала, как держать, и я сел с ней у стены и сидел, пока Тисса спала, и это были первые полтора часа моего отцовства, и провёл я их, не шевелясь, как в секрете.

За стеной уже гремел берег. Берег стоял у дома с рассвета — не весь, но человек тридцать точно, — и когда я вышел с ней на руках, потому что Валла велела вынести её на воздух, пока нет ветра, они все повернулись.

— Девка. Мать жива.

И услышал, как по толпе это пошло назад, к тем, кто стоял дальше и не слышал: девка, мать жива, девка, мать жива.

Нас в тот день стало сто шесть.

Сто четыре пришло в июне. Умпо, взятый в июле, был сто пятым — я записал его на плитку в тот же вечер, когда его привязали за ногу: человек, который у меня есть, должен стоять в счёте. Санно и его двое в этот счёт не входили и стояли у Нассы на отдельной плитке: они были наёмные из Кирны, ели у нас и доли не брали.

Тавва стала сто шестой.

Я записал её вечером двадцать седьмого августа, при свете очага, и рядом поставил день. Насса потом переписала это к себе.

Первый человек, родившийся на этом берегу.

Я об этом тогда не думал ни секунды. Я думал о том, что ей нужно тепло, что Тиссе нужно есть, и что у нас на весь дом восемь тряпок.

Про восемь тряпок надо отдельно.

Ребёнок мочится двадцать раз в сутки, и я это утверждаю не на глаз: первые трое суток я считал: я не мог заснуть, и мне нужно было понять, во что мы вляпались.

Восемь тряпок — это четыре часа. Дальше стирка, а стирка — это вода. Стирать в море нельзя: соль не сохнет и разъедает кожу, и это мне объяснила Марра в первое же утро, когда я с этой светлой мыслью направился к воде. Значит, пресная. Значит, из запаса у расщелины. Значит, из тех же ста двадцати семи черпаков.

Мы вышли на девять черпаков в день только на нас троих.

Я пошёл к Дессо сам и сказал ему это сам, при людях, и назвал цифру, и сказал, что на двор с грудным ребёнком идёт добавка и что она будет идти всем, у кого он появится, а не только мне.

— Запиши, сколько и до какого дня, — сказал Дессо.

Он сказал это моими словами. Точнее, словами Тиссы, которые я в июле повторил при всех на разборе с мукой и которые он себе взял.

До родов на нас двоих уже выдавали воду. Теперь дому требовалось девять черпаков в сутки: прежнюю долю оставили, а недостающее взяли из общего.

Сократили воду на готовку, свели варку к одному разу в день вместо двух и уменьшили взрослую выдачу, опустив вечернюю мерку ещё на палец. Коз с того дня поили из того, что оставалось в лотке к ночи, а не из выдачи. Насса записала отдельно прежнюю долю нашего двора, добавку и то, откуда её взяли, и записала при людях, и берег поворчал три дня, и на четвёртый перестал: ребёнок был один, а мерка стала короче у всех.

Первые дни я спал урывками и понял про себя много нового.

Я умею не спать. Это, в общем, профессия: я умею трое суток работать на том, что осталось, и знаю все свои стадии, и знаю, на какой из них начинаю делать глупости.

С ребёнком не так. Тут не трое суток, а неизвестно сколько; тут нельзя досыпать после: «после» не наступает; и главное — тут нет задачи. Задача у меня всегда кончалась. Эта не кончалась никогда: она орала в два часа, потом в четыре, потом в полшестого, и в полшестого уже надо было идти на раздачу воды.

К четвёртому дню я научился менять мокрое одной рукой в темноте. К шестому — носить её на предплечье животом вниз — так у неё проходило, и ходить с ней по дому, и делать это, думая о другом. К восьмому я отменил два выхода и поймал себя на том, что отменяю их с удовольствием.

Вот это было новое. Мне в жизни не хотелось оставаться дома. Ни разу.

Валла прожила у нас четыре дня и ушла на пятый, тридцать первого августа.

Плату взять отказалась. Я предлагал ей рыбу, медь и черпаки — черпаки были самым дорогим, что у нас было, и она это знала, — и она на всё сказала «нет».

Потом сказала, что ей нужно.

Ей нужен был человек на крышу. Осенью, до дождей, на два дня, с топором. Крышу ей всё лето обещал старший сын, а старший сын третий месяц сидит на камне с примотанной к дощечке рукой и смотрит на воду.

— Будет.

— Пришлѐшь Тирро и ещё одного. И пусть Тирро не приходит ко мне с пустыми руками.

И ушла поверху, одна, в свою бухту, женщина лет пятидесяти, которая всю ночь принимала у меня в доме ребёнка и взяла за это два дня чужой работы в октябре.

Поссорились мы на шестой день, и поссорились из-за тряпки.

Ночью у меня кончилось чистое. Ребёнок орал, Тисса спала — первый раз за сутки нормально спала, — и я не стал её будить, а полез в её корзину, куда не лазил никогда, и нашёл там сложенный кусок ткани.

Ткань была старая, вытертая, мягкая, с выцветшим тёмным краем.

Я разорвал её на четыре полосы.

Утром Тисса эти полосы увидела. Она не закричала. Она села, взяла одну полосу, развернула, посмотрела на край и сказала:

— Где остальное.

— Вот.

Она собрала все четыре, сложила их одна на другую, положила на колени и накрыла ладонями.

Я начал объяснять. Я сказал, что было три часа ночи, что она спала, что ребёнок орал, что чистого не было, что это была просто ткань в корзине.

— Это было из дома.

— Из какого дома?

И она посмотрела на меня, и я понял, какой это был вопрос.

Дом Асси стоит на Саринте в третьем ряду сверху, и в нём живёт её мать, и его она больше не увидит.

Отца у неё забрали в счёт дани три года назад. Брат остался на острове. Мать осталась в доме. Сама она в июне села в лодку с человеком, которого на острове три четверти считали чужаком, и уехала на пустой берег за полтора перехода, и взяла с собой то, что влезло в корзину.

Этот кусок ткани она везла из дома. Он лежал у неё в корзине два с половиной месяца, и она его не тронула, и я даже не знаю, что она собиралась с ним делать; я думаю, ничего.

А я порвал его на пелѐнки, и — тут я должен быть точен — я и сейчас, через столько лет, считаю, что ночью я сделал единственно возможное. Ребёнок орал, чистого не было.

Дело было не в ткани, и дело было в ткани.

Она плакала недолго и зло. Я сидел рядом, ничего не говорил и не трогал её.

Потом она вытерла лицо.

— Я не сплю шесть дней.

— Я знаю.

— Ты не знаешь. Ты встаёшь и уходишь к расщелине, а я не ухожу никуда. И я не жалуясь. Я говорю, что так дальше нельзя.

Дальше был разговор, который я потом много раз вспоминал: он был первый в этом роде, и мы оба в нём говорили цифрами.

Она сказала, что ей нужно спать один раз в сутки подряд, не урывками. Я сказал, что могу брать её от первого света до того часа, когда я ухожу. Она сказала, что этого мало: кормить всё равно ей.

Мы досчитались до следующего. С темноты до полуночи ребёнок мой: ношу, меняю, отдаю только на кормление. Воду на стирку ношу я, и грею я, и развешиваю тоже я. Насса приходит в полдень и сидит три часа, а за это её двор получает долю воды выше нормы — это я выговорил у Дессо через два дня, с записью и при людях, и Насса, когда узнала, сказала, что пришла бы и так, но от воды не отказалась.

И последнее, что я тогда пообещал и что оказалось труднее всего остального: с вечера говорить, куда иду завтра и к какому часу вернуться.

Мы договорились обо всём, и это заняло четверть часа, и всё это время четыре полосы лежали у неё на коленях.

Потом она сложила их и убрала обратно в корзину.

Она не сказала при этом ничего, и я ничего не спросил, и ни одной из этих четырёх полос мы за всю осень ни разу не воспользовались. Они там и лежали, сложенные, и я знал, что они там лежат, и каждый раз, когда лез в корзину за чем-нибудь другим, отводил руку.

А потом она попросила своё, и попросила не тогда, когда мы считали, а позже, вечером, когда я уже думал, что день кончился.

Она попросила передать матери, что родилась девочка.

Я сказал, что передам с первой лодкой. Она спросила, когда будет первая лодка. Я сказал, что не знаю: Хуванду придёт в сентябре, но он идёт на восход, а не на Саринт, и что с Саринтом у нас в это лето вообще не было ни одной оказии.

Она это выслушала и больше не возвращалась к этому ни разу, и вот это «больше не возвращалась» я носил в себе до октября.

Утро, про которое стоит написать, было пятого сентября.

Ветер в тот день не встал совсем — первый раз с середины июля, — и было тихо и уже не жарко, и с моря шёл тот низкий ровный свет, который здесь бывает в начале осени.

Валла ушла ещё в конце августа. Ситта не заходила третий день. Касси и Марра в то утро не пришли.

Мы проснулись одни и не сразу это поняли.

Тавва спала в корзине, подтянув ноги и растопырив пальцы, и спала уже второй час подряд, и это тогда было событием.

Я разжёл, нагрел воду и сделал еду. Еда была такая: варёный ячмень, лепёшка из последней хорошей муки и сушёная рыба, которую в июле привезли из Кирны, и я её немного отмочил и потом подержал на камне.

Тисса ела сидя, завернувшись в покрывало, и ела долго, и я смотрел, как она ест, и мне это нравилось так, что я сам удивлялся.

— Рыба пересушена.

— Рыбу сушил Ламмо. Я её только грел.

— Грел ты её тоже плохо.

Потом мы разговаривали про то, на кого похожа Тавва. Тисса сказала, что на её мать — лоб её матери. Я сказал, что лба пока не видно совсем, там один пух. Она сказала, что мне не видно, а ей видно.

Про Хуванду я больше не шутил, но посмотрел, и она это заметила.

— Даже не начинай.

Потом она сказала, что у девочки будет моё имя.

Я не понял. Она объяснила: имя кончается на то же, на что кончается моё, и значит, здесь их будут слышать как двух женщин из одного дома.

И вот тут мы вспомнили ту старую историю — как в первые недели на Саринте дети хохотали над тем, что чужака зовут женским именем, и как взрослые поправляли друг друга и не поправляли меня, и как мне было совершенно всё равно: я собирался уйти оттуда через неделю.

— Теперь уж ничего не поделаешь. Берег называется по мне, дочь называется в рифму, и через двадцать лет никто не вспомнит, что в этом было смешного.

— Я вспомню.

Она тронула меня первой. Я собирал посуду, сидя к ней спиной, и она дотянулась и положила руку мне на шею сзади, под волосы, и подержала.

Ни о чём другом речи в те дни идти не могло: ей было девять дней от родов, у неё всё болело, и я это понимал. Дело было не в этом.

Я отставил горшки и лёг рядом на её подстилку, лицом к ней, и она подвинулась, и мы лежали.

Я положил ладонь ей на живот. Живот был чужой — мягкий, пустой, обвисший, ничего похожего на то, к чему я за лето привык, — и она, глядя мне в лицо, сказала:

— Да, вот так теперь.

— Ну и ладно.

— Ну и ладно.

С берега меня позвали, когда она уже задремала.

Позвал Лаппо, и позвал в своей манере — от нижнего ряда, во всю глотку, не подходя.

Я лежал и слушал, как он орёт моё имя. Он проорал его второй раз, потом третий. Тисса не проснулась. Тавва в корзине завозилась, выпростала руку и опять затихла.

На четвёртый раз я отозвался — тоже не вставая и не очень громко, так, чтобы он услышал и отстал.

Потом полежал ещё немного.

Потом встал, взял оба пустых горшка, чтобы на обратном пути занести воды, подоткнул тряпку на входе камнем, посмотрел, как они обе спят, и пошёл вниз.

Глава 6 "Камень на мысу"

Глава 6. Камень на мысу

Пиясса пришёл к нам двадцать четвёртого сентября, и пришёл он не за нами.

Он шёл вдоль цепи на восход со смолой, четырьмя мешками шерсти и двумя связками медных лезвий, шёл к рыбацким посёлкам южнее Алланды, где в конце сезона дёшево берут шерсть и дорого отдают сушёную рыбу, и завернул к нам на полдня: у него была вода на два года вперёд, выторгованная ещё на Саринте, и эти два года он намерен был выбрать до последнего черпака.

Он постарел за год. Левый глаз у него был затянут белым и раньше, а теперь он и правым стал щуриться, и на подходе к берегу лодку вёл не он.

Вёл её Тукканни — его племянник, лет двадцати пяти, широкий в плечах, молчаливый, и вёл хорошо, и Пиясса за всё время подхода сказал ему два слова, и оба были про то, как держать корму.

Я стоял на гальке, смотрел, как они заходят, и думал не про шерсть. Я думал, что дальше этого рейса в этом году лодок на восход не будет.

Про могилу Тисса знала с июня.

Я ей тогда сказал столько, сколько сумел: что человек, выбивший знаки на моём камне, был такой же, как я; что он пришёл сюда задолго до меня и прожил двадцать лет на берегу южнее Алланды; что его похоронили на мысу и что мне надо туда.

— Зачем?

И вот тут я встал.

Я мог объяснить ей, что такое эти знаки. Мог объяснить, что это мой язык, записанный способом, которому меня учил отец на кухне. Я не мог объяснить главного — того, что там стояло число, которое на шестнадцать лет больше моего, и что из этого следует про порядок, в котором люди вроде меня сюда попадают. Для этого нужно было сначала объяснить, что такое год, который считают от чего-то, случившегося две с половиной тысячи лет вперёд.

— Он знал что-то, чего не знаю я.

— И что, ты это узнаешь на его могиле?

— Не знаю. Но если не поеду, буду про это думать каждый день.

Вот это она приняла сразу и без единого вопроса.

Двадцать четвёртого мы торговались весь вечер, и торговались не про место в лодке. Место в лодке Пиясса дал бы и так.

Мы торговались про то, что я отдам за обратную дорогу — обратно он шёл уже гружённый рыбой и ему было всё равно, стоять лишние два дня у чужого мыса или не стоять, а мне было не всё равно.

Сошлись на шести черпаках воды в следующем году и на том, что мои люди разгрузят его здесь весной.

Потом сели считать дни. Три перехода туда — от нас; мы сдвинуты к восходу, и то, что от Саринта было четырьмя днями, от нас выходило тремя при ровной погоде. Два дня там. Три обратно. Итого восемь.

Пиясса посмотрел на меня своим здоровым глазом.

— Восемь не бывает. В конце сентября считай двенадцать.

Вечером Тисса потребовала цифры. Не спросила — потребовала, и я, если честно, ждал этого с той минуты, как Пиясса зашёл в бухту.

— Назови день.

— Двенадцать дней. Значит, восьмое октября.

— Назови запас.

— Три. Значит, крайний — одиннадцатое.

— А если больше трёх?

И я ответил то, что в тот момент казалось мне разумным, а через три недели оказалось самой дорогой фразой той осени: если больше трёх, значит, ветер, и тогда ждите, сколько стоит ветер, потому что в конце октября море закрывается и я в любом случае вернусь раньше, чем оно закроется.

— Хорошо. Но ты обещал говорить, куда идёшь и когда вернёшься. Ты сказал. Я услышала.

Дальше мы сидели и делили дела, и это заняло больше времени, чем разговор про меня.

Вода — Дессо, без изменений, и он сам это знал лучше меня. Цистерна к тому дню была вынута вся и до дна, и Санно с Дессо обмазывали её известковым тестом из девяти питт, и на это у них оставалось дней двадцать, а первых дождей ждали в конце октября; от того, успеют они или нет, зависело следующее лето, и это было единственное дело на холме, которое шло без меня само и лучше, чем при мне.

Счёт — Насса; ей же плитка и ей же спор о долях, если он будет.

Люди — Кисто, и вот тут Тисса возразила, потому что Кисто в июле поднимал камень над мальчишкой, и я согласился с ней наполовину: люди — Кисто, но всё, что касается чужих на берегу, — до моего возвращения никак, а если придут чужие и ждать нельзя, звать Каппо из бухты.

Стройка — Санно, и Санно про это не спрашивал вовсе.

Сопровождение Ламмо — отказать. Я отказал ему в сентябре уже второй раз и знал, что мне это вернётся, и знал также, что ни в одной строке нашего договора этого сопровождения нет, и что ему это будет безразлично.

Тисса выслушала всё и сказала одну вещь, которую я тогда не оценил.

— Ты раздал всё, кроме того, что делаешь ты.

— А что делаю я?

— Ты ходишь между всеми ими и слушаешь. Этого ты никому не отдал, потому что это некому отдать.

А перед самым выходом она попросила ещё одно.

— На стоянках спрашивай, не идёт ли кто на Саринт.

Я сказал, что буду спрашивать.

Вышли двадцать шестого, на рассвете, при слабом с севера.

Тавва к тому дню прожила месяц без одного дня. Она уже держала голову три вдоха подряд и делала это с таким лицом, будто поднимает мешок, и Тисса каждый раз при этом смеялась, и я в то утро сидел над корзиной дольше, чем следовало, и меня звали с берега дважды.

Тисса вышла проводить до воды. Она не сказала мне ничего особенного, и я ей тоже. Она поправила мне мешок на плече и сказала, чтобы я не потерял плитку.

Я обернулся один раз, уже с воды, и увидел, что она стоит и разговаривает с Нассой и на лодку не смотрит.

Первый день был хороший. Мы шли на вёслах вдоль цепи, потом под парусом полперехода, потом опять на вёслах; Тукканни держал, Пиясса дремал на корме и просыпался ровно тогда, когда что-то шло не так, и один раз проснулся за секунду до того, как это понял я. Заночевали на стоянке, где вода и три навеса.

На второй день с полудня зашло с северо-востока, и мы полдня выгребали против короткой злой волны, и к вечеру у нас разошёлся шов на скуле левого борта — не течь, а сочение, — и Пиясса сказал, что дальше без смолы не пойдёт.

Смола у него была. Не было сухого места и времени.

Мы встали на чужой стоянке — маленькая бухта под обрывом, вытяжка на четыре корпуса, два дома выше по склону — и простояли там четверо суток: сутки на шов и трое на ветер, который зашёл в тот же вечер и не отпустил.

Эти четверо суток я до сих пор считаю самыми полезными во всей поездке.

Хозяев было трое: старик, его сын и сноха, и ещё дети, которых я не считал. Они брали за стоянку рыбой или работой. Мы отдали работой: Тукканни с двумя правили им вытяжку, а я два дня таскал камень: мне надо было чем-то занять руки.

Вечером ели вместе. Ели кашу из ячменя с рыбой и пили что-то кислое, разведённое водой, и старик, узнав, куда мы идём, оживился и сказал, что знает то место и знает про того человека.

Пиясса посмотрел на меня.

— Расскажи, — сказал я.

Старик рассказал вот что.

Что жил на том берегу человек, пришедший из моря. Что вышел он на берег в бурю, и вышел без лодки, и что на нём не было ни одной царапины. Что он умел звать рыбу — выходил на камни, говорил, и рыба шла. Что однажды у них пропали лодки, три штуки, и он сказал, где искать, и нашли. Что он не тонул: его пробовали утопить чужие, и он ушёл под воду и вышел в другом месте, за мысом.

Я слушал и чувствовал, как у меня разгоняется сердце.

Вышел из воды без лодки. Ушёл под воду и вышел в другом месте.

Я за две минуты построил себе на этом целое здание: он знал место; он умел проходить; он уходил и возвращался; вот зачем мне туда.

«Товарищи курсанты. Вам рассказали хорошую историю. Прежде чем ею пользоваться, задайте о ней три вопроса. Первый: видел ли рассказчик сам. Второй: если не сам, то через сколько рук это к нему пришло. Третий: что в этой истории такого, чего рассказчику невыгодно было бы придумывать. Первые два вопроса историю обычно убивают. Третий оставляет от неё крупицу, и вот с этой крупницей уже можно работать».

Гуляев, четвёртый курс, опрос. Он тогда добавил, что мы всё равно сначала поверим, а спрашивать начнём потом, и в этом был прав.

Потом я начал спрашивать подробности, и здание сложилось.

— Ты его видел?

— Нет. Я там и не был ни разу. Отсюда до них два перехода.

— Кто видел?

— Дядя матери.

— Он рассказывал сам?

Старик подумал.

— Он рассказывал моей матери. А мать мне.

Я спросил про рыбу: в какой год, сколько раз, кто ещё при этом был.

— Так говорят.

Я спросил про лодки: чьи, откуда пришли, где нашли.

— За мысом нашли.

— За каким?

— За тем, где его и похоронили.

Это была единственная подробность за весь рассказ, которая ни с чем не спорила.

Тут заговорила сноха. Она сидела с краю, кормила младшего и до этого не сказала ни слова.

— Моя родня с того берега, — сказала она, не поднимая головы. — Там про него говорят другое.

Там говорят, что он чинил лодки. Что жил в доме вдовы, у которой было двое малых, и прожил там, сколько прожил, и умер. Что лодки он чинил хорошо, но медленно, и брал за это мало, и что одни его за это уважали, а другие считали дураком.

— И звали его Нетту.

Я переспросил.

— Нетту.

Я переспросил ещё раз, и старик засмеялся и сказал, что да, так и звали, он забыл, а зовут его так потому, что он всё время это говорил. Что бы ни спросили — он так и отвечал.

И сказал это слово ещё раз, и сказал его правильно, с ударением на первом слоге, чуть растянув: нётту.

Нету.

Я вышел из-под навеса и постоял снаружи.

Мне тогда было тридцать семь лет, и я за прошедший год научился держать лицо в гораздо худших положениях, но тут мне надо было выйти, потому что чужая баба на чужой стоянке произнесла русское слово, и произнесла его как имя, и это было первое русское слово, которое я услышал от человека за пятнадцать месяцев.

Его спрашивали: есть ли у тебя? есть ли здесь? будет ли?

А он отвечал: нету.

Двадцать лет.

Вернулся я, когда убрали посуду, сел доедать и больше про старика в тот вечер не спрашивал.

Пиясса потом, уже у лодки, сказал мне, что про рыбу — враньё, и сказал спокойно, как говорят про погоду.

— Я понял.

— А про имя не враньё. Имя они бы не выдумали.

Это было самое умное, что кто-либо сказал мне за ту поездку. Выдумывают подвиги. Клички не выдумывают.

Пришли мы второго октября, к обеду.

Посёлок стоял на пологом берегу под невысоким обрывом: дворов двадцать с чем-то, вытяжка, сушила, козы, дым. Мыс был к югу, в получасе ходьбы, длинный и плоский, уходящий в воду тремя ступенями.

Нас никто не встречал. Пиясса ушёл торговать, я остался на берегу с мешком.

Проводника мне дали не сразу и дали мальчишку — лет четырнадцати, тощего, с ободранными коленями, который сначала спросил, чего я дам, потом, услышав ответ, сказал, что и так покажет, а потом всю дорогу шёл на два шага впереди и через каждые полста шагов оборачивался проверить, иду ли я.

Его звали Хиллуни.

Могилы на мысу было три. Я этого заранее не знал и, когда увидел три, на минуту растерялся: я шёл к одной.

Две были старые, оплывшие, заросшие, обложенные по кругу мелким камнем. Третья лежала с краю, ближе к воде, и на ней стоял камень — серый, плоский, в рост сидящего человека, врытый на треть.

— Вот, — сказал мальчишка.

— Откуда камень?

— Он сам его сюда привёз.

— Сам?

— Так говорят. Привёз на лодке, вытащил и поставил, и сидел тут, и все смеялись. А потом он умер, и его положили тут.

Я подошёл и стал смотреть, и первую минуту ничего не видел. Камень был в лишайнике — жёлтом и сером, — весь испятнан, и на нём было полно естественных выбоин, и я честно сказал себе: возможно, здесь ничего нет и он просто поставил камень.

Потом сел на корточки, положил ладонь на поверхность и повёл.

И всё, что я тогда почувствовал, было простой вещью: под пальцами шла ямка. Круглая, глубокая, с ровным дном. Такая, какую не делает ни дождь, ни соль, ни мороз.

Чистил я его, наверное, час. Мальчишка сначала стоял и смотрел, потом принёс мне воды в раковине, потом ушёл и вернулся с пучком жёсткой травы, и мы чистили вдвоём, и я ему за это потом отдал нож, и это был хороший обмен.

Надпись шла в три строки.

Первую я прочёл сразу — она была такая же, какую я уже читал на своём камне: точки и тире, группами, с ровными паузами. Я читал по знаку, вслух, и мальчишка слушал и решил, что я пою.

Точка, тире, точка, точка. Л.

Точка, точка, тире. У.

Тире, точка, тире. К.

Точка, точка. И.

Тире, точка. Н.

ЛУКИН.

Я сидел на камнях над водой и смотрел на пять букв.

Не на знак, не на число, не на девиз — на фамилию.

Я не знал никакого Лукина. Это было самое обыкновенное сочетание букв, какое только бывает: Лукин, каких в любом городе десятков. И именно поэтому оно ударило так, как не ударило ничего за весь год: человек, который лежал под этим камнем, был не «предшественник» и не «тот, кто выбил табличку».

Он был Лукин.

Дальше шли две строки, и обе были числами. Я это понял до того, как прочёл: группы были по пять знаков: цифры в морзянке всегда пять, буквы — от одного до четырёх, и это первое, что запоминает всякий, кто её учил.

В первой строке было четыре группы. Во второй — тоже четыре.

Первая: один, девять, семь, четыре.

Вторая: два, ноль, четыре, один.

1974

2041

Я просидел на том мысу до вечера. Мальчишка ушёл и потом пришёл снова, и я его не заметил.

Про 2041 я думал год. Я построил на нём целую башню: он ушёл из нашего мира на шестнадцать лет позже меня, а вышел здесь на полвека раньше, значит, порядок не сохраняется, значит, это не случайность, — и с этой башней я жил и, по правде сказать, гордился ею.

Теперь под ней стояло второе число, и башня от этого не упала, а сделалась проще и тяжелее.

Я перебрал, что эти две строки могут значить, и перебирал добросовестно, потому что человек, который двадцать лет бил ямки на камне, мог написать что угодно и не обязан был писать понятное. Две четырёхзначные группы, стоящие под фамилией одна над другой, могут быть чем угодно: двумя расстояниями, двумя счётами, двумя важными ему числами. Но то, что пишут под фамилией на камне, который ставят себе сами, везде, где вообще умеют писать, обычно означает одно.

От и до.

Год, в котором он появился на свете. Год, в котором он отсюда ушёл.

Это чтение, а не доказательство, и я обязан это сказать: я прочёл так: так читается проще всего, и в этом случае он ничего мне не загадывал, а просто написал на своём надгробии то, что пишет всякий. И, написав, попутно сообщил тому, кто прочтёт, что 2041 — это, скорее всего, год, а не что-нибудь ещё.

И тут же вылезло то, что ни в какую башню не лезло.

Шестьдесят семь.

От семьдесят четвёртого до сорок первого — шестьдесят семь лет. Если второе число — год перехода, ему было шестьдесят семь, когда он сюда вошёл. Если он считал здесь годы дальше и написал год смерти — шестьдесят семь ему было к концу жизни. Камень один этого не решал.

В первом случае человек, вошедший сюда, был стариком. Не сорокалетним мужиком в снаряжении, не тем, кто ходит под воду и считает секунды, а стариком под шестьдесят.

И прожил он тут после этого, по рассказам, лет двадцать.

Восемьдесят семь.

Я сидел и проверял это на все лады и никак не мог проверить: у здешних нет годов. У них есть «при таком-то старшем», «за два года до большой воды», «когда моя мать была девкой». Я в тот день спросил про сроки пятерых и получил пять ответов, и они расходились между собой на пятнадцать лет.

Я спросил хозяина сушил, давно ли умер тот человек с мыса. Он сказал: при старшем, который был до нынешнего, и нынешний сидит давно. Я спросил, сколько давно. Он сказал: у него уже внуки взрослые.

Я спросил бабу у воды. Она сказала: моя мать была тогда молодая, а мать умерла в позапрошлую зиму и была старая.

Я спросил Хиллуни. Он сказал, что не знает, и предложил спросить деда, и дед оказался тот же хозяин сушил.

И только один ответил числом.

— Мне было двенадцать, — сказал он. — Он умер, когда мне было двенадцать, потому что в тот год меня первый раз взяли в море одного.

Потом я спросил, сколько ему теперь, и он подумал и сказал: много.

Вот и всё, что я мог собрать. Я знал точный возраст одного свидетеля в момент события и не знал, сколько этому свидетелю лет сейчас, и он сам этого не знал, и никто на берегу не знал своих лет: здесь считают не годы, а то, что в эти годы случилось: большую воду, плохой лов, того старшего, этого старшего.

Я потом считал по внукам и по зимам и получил вилку в пятнадцать лет.

Я до сих пор не знаю, когда он умер.

Человек, который стоял позади меня, простоял там, как выяснилось, довольно долго.

Я обернулся, когда он заговорил, и увидел мужика лет под пятьдесят, коренастого, с руками в старых порезах, в рабочей рубашке, с теслом за поясом.

— Ты его знал?

— Нет.

— А чего тогда сидишь?

И я сказал ему правду, потому что на этом мысу у меня не осталось сил на что-нибудь поумнее.

— Он мне родня.

Его звали Аммуни. Это он и ответил мне числом про двенадцать лет.

Его бабка была той вдовой, в доме которой старик прожил свои двадцать лет. Двое малых, которые при этом были, — его мать и его дядя. Сам он застал старика мальчишкой и помнил его сам, а не по рассказам, и это делало его единственным таким человеком на берегу.

Он чинил лодки. Чинил потому, что его этому выучил старик, и держал за поясом его тесло, и, когда я это понял, я попросил разрешения посмотреть, и он дал.

Тесло было местное. Медное, посаженное на кривую рукоять, сточенное с одной стороны сильнее, чем с другой.

— Он леворукий был, — сказал Аммуни.

Дом стоял выше вытяжки, четвёртым от края, и был больше нашего вдвое.

Меня позвали есть, и я пошёл, и первое, что сделал, — влез со своими вопросами, и влез плохо.

Я начал спрашивать по делу: в каком году он появился, где именно вышел на берег, что при нём было, кому он что говорил, куда ходил, с кем. Я задал их подряд, штук восемь, как задают на опросе.

Аммуни отвечал терпеливо, а жена его — её звали Нувама — на четвёртом вопросе поставила передо мной миску.

— Ешь.

— Я ем.

— Ты не ешь, ты допрашиваешь. У нас за едой говорят про людей, а не про годы.

Гуляев говорил то же самое короче: спрашивайте про людей, а не про даты. Даты человек помнит плохо и оттого отвечает осторожно, а про людей рассказывает щедро и выкладывает при этом все даты, какие у него есть.

И дальше два часа мне рассказывали про человека.

Он был здоровый, но с плохой спиной, и, когда поднимал, крикал и говорил своё слово.

Он не ел рыбы головы. Здесь их едят все, и голову дают гостю, и он от неё отказывался двадцать лет подряд, и все двадцать лет ему её всё равно клали — не класть было нельзя.

Он заставлял мыть руки.

Вот тут я уронил ложку.

— Да, он был на этом помешан, — сказала Нувама. — Перед едой, после работы, и особенно если в доме кто-то болел. И если кто-нибудь брался за еду, не вымыв, он мог ударить по руке. Не сильно, но при всех.

— И что, мыли?

Она пожала плечами.

— Мы моем.

Вот это я потом вспоминал чаще, чем все числа на его камне. Человек двадцать лет бил по рукам чужих людей в чужом доме, и через тридцать с лишним лет после его смерти в этом доме моют руки и не знают почему.

Он боялся грозы. Не бури — грозы. При первом громе уходил в дом и садился спиной к стене, и в эти часы к нему не лезли.

Он смеялся редко и смеялся не там, где все.

Он один раз в год куда-то уезжал и возвращался молчаливый, и в первый вечер после возвращения его не трогали, потому что он мог наорать.

Он ругался на своём языке, и дети выучили эти слова и дразнили ими друг друга, и Аммуни, сказав это, засмеялся и произнёс два из них.

Оба были русские. Оба неприличные. Произнёс он их с местным ударением, и оба были узнаваемы.

Я засмеялся тоже, и, наверное, слишком громко: Нувама на меня посмотрела.

Он умер летом, в жару, и умирал три дня, и умер во дворе — сам вылез туда и не дал себя занести обратно.

Он выбрал себе место на мысу заранее, лет за пять. Камень привёз оттуда же, откуда возил все свои камни, — с северной стороны, где ломают плитняк, — и привёз сам, и ставил сам, и бил на нём знаки сам, долго, урывками, года два.

— Мы думали, он спятил, — сказал Аммуни.

И сказал ещё, что, когда он умер, его хоронили всем берегом, и что народу было столько, сколько на старших не собирается, и что он, Аммуни, тогда этому удивился и понял только сейчас, когда сам стал тем, кому чинят лодки.

Вещи показали мне уже поздно, когда младшие улеглись.

Их было три.

Первая — шнур. Обычный местный шнур, какие я видел сотню раз: тёмный, ссученный вдвое, с узлами. Узлов было много, и шли они группами, и я сначала решил, что это счёт долгов.

Вторая — кусок железа.

Я взял его в руки и сидел с ним, наверное, минуту. Здесь нет железа. Здесь не будет железа ещё тысячу лет, и ржавчина на этом берегу — вещь, которой люди просто не видели. Это был плоский обломок, съеденный до слоистой бурой корки, с одной дыркой и остатком чего-то вроде загиба. Пряжка. Или часть пряжки. Определить я не смог.

Нувама сказала, что это лежало при нём всегда и что выбросить нельзя: дедово.

Третья была дощечка.

Дощечка была не дощечка, а кусок кости — плоской, широкой, обрезанной с двух сторон, с дырочкой у края, чтобы вешать.

На ней были царапины. Мелкие, частые, в строки, и выцарапаны они были не морзянкой. Они были выцарапаны буквами.

Мне дали лампу и угол за перегородкой, и я просидел там до середины ночи.

Буквы были наши. Кривые, мелкие, местами процарапанные заново поверх стёртых, но наши, и складывались они в короткие строки, и строк было девять или десять — часть я разобрать не смог совсем.

Первая шла так:

ЛУКИН П. Г. 2041

Вторая:

ГОД ПЕРВЫЙ. ВЫШЕЛ ЮЖНЕЕ. ЖИВ.

Дальше шли строки с числами в начале, и числа были местные — узлы, счёт лет, который он вёл сам себе.

ГОД 4. КЕРО. НИЧЕГО.

ГОД 9. КЕРО. НИЧЕГО. ГЛУБЖЕ НЕ ДОСТАТЬ.

ГОД 13. КЕРО. ВОДА ТА ЖЕ. НИЧЕГО.

Потом две строки, которых я не прочёл.

Потом:

ГОД 17. НЕ ПОЕДУ.

И последняя, процарапанная крупнее и глубже прочих, с нажимом, каким пишут, когда уже не боятся испортить:

ЕСЛИ ЧИТАЕШЬ — НЕ ИЩИ ТАМ. Я ИСКАЛ.

Я сидел с этой костью в руках, разбирал по букве, и мне было — я это пишу честно — плохо.

Я ехал сюда за способом. Я не признавался себе в этом ни разу за четыре месяца: я говорил себе, что еду узнать, что еду закрыть вопрос, что мне надо понять порядок. Но, когда я прочёл «не ищи там», у меня внутри провалилось, и провалилось ровно на глубину той надежды, которой у меня, как я считал, не было.

Он ездил на Кери четыре раза за семнадцать лет. Четвёртый год, девятый, тринадцатый и ещё какой-то из тех двух, что я не разобрал. Он ходил туда, где бросают в воду разбитые каменные фигурки, и смотрел, и лазил, и не достал, и на семнадцатом году написал: не поеду.

А потом взял и оставил запись для того, кто придёт.

Аммуни сидел напротив и ждал.

Я спросил его про Кери, и он сказал, что да, старик туда ездил и что туда ездят многие — туда возят. Что сам он там был дважды и ничего особенного не видел: остров, камни, вода.

— Он говорил, что ищет?

Аммуни подумал.

— Он говорил — «где вход».

Сказал он это на своём языке, и слово было местное, и означало оно проход между скалами, каким заходят лодки.

— И всё?

— И всё. Он вообще мало говорил. Он плохо говорил.

Я попросил разрешения переписать. Объяснил, как сумел: что эти царапины — знаки моего языка; что я могу их прочесть; что мне нужно не забрать, а срисовать.

— А зачем?

И вот тут я сказал ему больше, чем говорил кому-нибудь, кроме Тиссы.

— Я пришёл так же, как он. Из воды. Без ничего. Я не отсюда, и там, откуда я, его знают, а меня уже нет.

Он выслушал это спокойно и без всякого потрясения и спросил единственное:

— Ты тоже ждёшь лодку?

— Уже нет.

Он посмотрел на меня.

— Он тоже говорил, что нет.

Переписывал я до света. Переписал всё на две свои плитки, сырые, и потом сушил их у очага, и Нувама ворчала, что от них дымит.

Кость мне не отдали, и правильно сделали. Я предлагал за неё медное тесло, которое вёз Ламмо, — и, предложив, тут же понял, как это выглядит.

— Это дедово, — сказал Аммуни.

— Понял.

Тогда он сказал, что я могу приходить смотреть, когда захочу, и что если пришлю человека, то пусть везёт что-нибудь на обмен, и что лучше всего смолу.

Тесло я всё-таки оставил. Не за кость — за два дня стола и за то, что мне дали лампу и угол.

Он взял.

Дальше мы стояли ещё несколько дней, и стояли не из-за меня.

Пиясса не продал шерсть. Он рассчитывал сбыть её здесь всю, а взяли у него один мешок из четырёх: в это лето южнее Алланды шерсти хватало своей. Он походил по берегу, поругался, потом взял Тукканни и пошёл на чёлне в соседний посёлок, вернулся на другой день с половиной мешка проданного, потом пошёл в третий.

На это ушло три дня, и все три дня я сидел на чужом берегу и ждал чужого человека, который вёз меня за шесть черпаков воды.

Я мог бы злиться. Я и злился первый день.

А на второй поймал себя на том, что мне это удобно, и вот тут уже стало нехорошо.

Восьмого утром лодка была готова. Смола схватилась, шов держал, рыба взята, Тукканни ругался с хозяином сушил по поводу последней корзины, и к полудню мы могли идти.

Я сказал: завтра.

Никакой причины у меня не было.

Я поднялся на мыс, сел у камня и просидел там до вечера. Я не думал ни о чём полезном. Не строил гипотез, не перебирал вариантов, не считал. Я сидел на тёплом плитняке рядом с чужой могилой, смотрел на воду и держал в голове одну картинку: как этот человек два года, урывками, между чужими лодками, бил на камне ямки, чтобы кто-то, кого он никогда не увидит, прочёл его фамилию.

Потом спустился и лёг спать.

Это стоило мне одного дня.

И это был тот самый день, в который я при жене и при Нассе обещал стоять на своей гальке.

Обратно шли семь дней вместо трёх.

Вышли девятого — на другой день после того числа, которое я назвал вслух как день возвращения, и вышли с попутным, и первый день прошёл хорошо. На второй нас снесло, и к вечеру прижало к берегу под обрывом, и Пиясса, глядя на воду, сказал, что это ещё не то, что будет, и был прав.

Под этим обрывом мы простояли четверо суток.

Четверо суток — это когда ты в первый день чинишь всё, что можно починить, во второй перебираешь мешок, в третий знаешь на берегу каждый камень, а на четвёртый начинаешь считать вслух, сколько дней прошло с той цифры, которую ты назвал.

Я считал. Восьмое. Девятое. Десятое. Одиннадцатое — крайний.

Мимо нас за эти четверо суток не прошло ни одной лодки. Ни одной. Я по три раза в день поднимался на обрыв и смотрел, и это было единственное, чем я мог заниматься, и за этим занятием я в первый раз ясно понял, чего стоит слово «передам с оказией», если оказии нет.

Пятнадцатого к вечеру дошли.

Двадцатые сутки вместо двенадцати.

Четверо суток мы простояли на пути туда. Трое я ждал Пияссу с его шерстью. Четверо мы простояли под обрывом. И один день был мой.

На берегу меня встретили нормально.

Именно это я и запомнил: нормально.

Меня не бросились обнимать, и никто не побежал наверх сообщать. Лаппо орал сверху, что идут двое; Дессо пришёл к воде и первым делом посмотрел на груз, а потом сказал, что цистерна обмазана вся, кроме горловины, и что плиты положат через два дня; Кисто доложил, что за двадцать дней чужих не было, что лодка Ламмо приходила дважды и оба раза ни с чем, и что Санно положил пятый ряд и ругается на извесь.

Я выгружал вместе со всеми.

Потом Насса, проходя мимо с корзиной, сказала — так, между делом, не остановившись: — Девочка болела.

Я поставил мешок на гальку.

— Когда?

— С шестого. Четыре дня жар, потом живот. Сейчас ест.

— Сейчас?

— Сейчас ест. Худая. Тисса не спала восемь ночей.

И пошла дальше со своей корзиной.

Я дошёл до дома за две минуты и все две минуты считал.

Шестое октября: я в тот день сидел на гальке у чужой стоянки и ждал, когда Пиясса вернётся из третьего посёлка. Восьмое, когда ей стало хуже: восьмого лодка стояла готовая с утра, и я сказал «завтра», и просидел день на мысу.

Я стоял перед своим проходом и пересчитывал это в третий раз, потому что мне очень хотелось, чтобы вышло иначе.

Не вышло.

Тисса сидела у стены и кормила. Она подняла глаза, когда я вошёл.

— Тише.

Я сел напротив.

Тавва ела. Она стала меньше — это было видно сразу, за двадцать дней ребёнок должен вырасти, а она стала меньше, — и лицо у неё было другое, и на висках просвечивало.

Я сидел и смотрел, как она ест, и это заняло долго, и мы за это время не сказали ни слова.

Потом Тисса оторвала её, переложила, поправила тряпку.

— Ну.

Я начал с ветра. Сказал, что на обратном пути четверо суток стояли под обрывом, что с севера задуло ровно и злобно и что Пиясса не пошёл, а я не мог заставить чужую лодку идти.

Она слушала.

Сказал, что до этого потеряли четверо суток на шве и на ветре и что смолить надо было на сухом.

Она слушала.

Сказал, что три дня ждал, пока Пиясса развезёт свою шерсть по трём посёлкам, и что это тоже были не мои дни.

— Одиннадцать дней из двенадцати — не мои.

И она спросила ровно то, что я знал, что она спросит:

— А двенадцатый?

Я мог сказать, что ждал погоды. Мог сказать, что переписывал; это было бы почти правдой — переписывал я ночь и утро, и день у меня остался свободным именно поэтому.

— Двенадцатый мой.

— Что ты делал?

— Сидел на его могиле.

— И что ты там делал?

— Ничего.

Дальше она рассказала, как было здесь, и рассказала подряд, не выбирая, как докладывают.

Шестого Тавва загорелась к вечеру. Тисса всю ночь держала её на себе. Утром позвала Ситту, Ситта сказала, что ждать до третьего дня.

Восьмого стало хуже, и тогда Тисса послала Тирро поверху за Валлой и отдала за это из своего — не из общего, а из своего, — потому что общее без меня трогать не захотела, и я потом три дня выяснял, что именно она отдала, и выяснил, и это была её вторая рубаха.

Валла пришла и сказала: поить.

Девятого Тавва перестала брать грудь. Это продолжалось почти двое суток, и вот эти сутки, сказала Тисса, были такие, про которые она мне рассказывать не будет.

Одиннадцатого начала есть.

Одиннадцатое — это был мой крайний срок. Мы оба это знали, и никто из нас этого не произнёс, и я до сих пор благодарен ей за то, что она не произнесла.

Она сказала другое.

— Я не сержусь, что тебя не было. Тебя бы не было и в море, и на стройке, и у Ламмо, и ты бы всё равно ничего не сделал, и я бы всё равно сидела с ней одна.

И потом:

— Я сержусь, что я не знала.

И вот тут мы наконец стали говорить по делу.

— Восьмого я стояла с ней на руках и считала. Ты сказал — восьмого. Потом ты сказал — одиннадцатого. Я честно ждала до одиннадцатого. А двенадцатого я перестала понимать, что мне думать: то ли ты сидишь где-то под ветром, то ли вас взяли, то ли ты утонул, — и мне надо было выбрать, что говорить людям, когда они спрашивают.

— А что ты говорила?

— Что ты под ветром.

— А сама?

— А сама я к четырнадцатому решила, что ты утонул. И стала думать, как мы будем зимовать.

И она стала думать, и вот тут выяснилось, чего мне стоили эти двадцать дней помимо жара у ребёнка.

Тринадцатого приходила лодка Ламмо — второй раз за поездку, — и просили людей на сопровождение, и Кисто отказал: я велел ждать меня. Ламмо после этого сказал при своих гребцах, что договор, стало быть, работает в одну сторону.

Про то, что сопровождения в договоре нет и не было, ему было известно не хуже, чем мне. Он просто сказал это при своих гребцах, а гребцы разнесли.

Четырнадцатого Дессо пришёл к Тиссе и спросил, снимать ли добавку воды с двора Нассы, у которой кончился месяц.

Он пришёл не к самой Нассе, у которой был счёт, и не к Кисто, у которого были люди. Он пришёл к ней.

— Я сказала: не снимать до твоего возвращения.

— Почему?

— Потому что если бы ты утонул, то эту воду пришлось бы делить заново. И лучше делить её при всех и не в тот день, когда все узнают, что тебя нет.

Я сидел и смотрел на неё.

Я двадцать дней таскал по чужому берегу две сырые плитки с царапинами, а здесь за это время моя жена научилась держать чужую очередь на воду на случай моей смерти.

Про Лукина я рассказал ей в ту же ночь.

Я собирался отложить. Я даже решил, что отложу, потому что в тот вечер это выглядело бы как размен: ты мне восемь ночей, а я тебе чудо с чужого берега.

Спросила она сама.

— Ты нашёл, что хотел?

Я достал плитки, показал ей знаки и сказал, что переписал их с кости, и что его звали Лукин, и что на камне стоят два числа и это, скорее всего, годы, и что одно из них — то, о котором я говорил ей летом.

— И что оно значит?

— Что он ушёл оттуда позже меня, а пришёл сюда раньше.

Она подумала.

— Значит, кто-то может прийти ещё?

— Может.

— Тогда пусть приходит. Место есть.

Она помолчала, и я уже решил, что на этом всё.

— А ты нашёл, как он сюда попал?

— Нет.

Это было правдой ровно наполовину, и половина у неё была та, что «не ищи там» я ей не сказал.

Она посмотрела на меня в темноте и сказала то, к чему я не был готов:

— Я этого и боялась.

— Что я не найду?

— Что найдёшь.

И дальше она сказала — не быстро, с остановками — она этого никогда никому не говорила, — что все двадцать дней у неё было не одно, а два. Одно — что он утонул. Другое — что он нашёл.

— И второе хуже. Потому что если утонул, то это море, и с морем никто не спорит. А если нашёл — значит, выбрал.

Я сказал, что не выбрал бы.

— Ты бы сказал мне заранее?

Я на это не ответил, и она на этом не настаивала, и вот это её «не настаивала» было хуже всякого крика.

Я потом много раз думал, что мы в ту ночь сидели по разные стороны одного и того же. Он оставил надпись, потому что ему некому было сказать. Она ничего не оставила, потому что ей было кому — и он был в море.

Мы просидели полночи и договорились до следующего.

Сроков больше не называть на глаз. Называть два: когда собираюсь и после какого дня считать, что случилось плохое. Между ними — не ждать вестей.

С любой лодкой, идущей в нашу сторону, — слово. Пиясса, Хуванду, кто угодно; здесь все ходят одними тропами, и передать три слова стоит дешевле, чем кувшин.

Если я задерживаюсь по своей воле — а такое будет, я не стал обещать, что не будет, — я передаю, что задерживаюсь по своей воле.

Вот это последнее она выговорила сама и повторила дважды.

— Не надо мне говорить, что ты под ветром, если ты сидишь на камне. Я не за ветер злюсь.

Я хотел сказать, что за четверо суток под обрывом мимо нас не прошло ни одной лодки и что передавать было не с кем.

Я этого не сказал. Не потому, что смолчал из благородства, а потому, что в ту минуту сообразил: если бы лодка прошла девятого, когда я только выходил, я бы передал ей, что задержался из-за ветра. Про свой день я бы не передал.

Про её мать я вспомнил сам, уже под утро, и сказал, что спрашивал на двух стоянках и что на Саринт до весны никто не идёт.

Она сказала:

— Я не спрашивала.

Полного мира в тот вечер не вышло. Она не сказала, что всё хорошо, и я не стал говорить, что больше так не буду: я так был бы ещё, и мы оба это знали.

Мы легли, и она отвернулась, и я долго лежал и слушал, как дышит Тавва. Дышала она плохо — часто и с шорохом, как дышат после того, как переболели, — и я в ту ночь вставал к ней дважды, и оба раза просто стоял над корзиной и смотрел.

Себе я в тот октябрь сказал так: он искал вход и не нашёл, и написал мне, чтобы я не тратил на это жизнь.

Значит, на Кери я всё-таки съезжу.

Но не в этом году и не в следующем.

Глава 7 "После отбоя"

Глава 7. После отбоя

Зимний груз Хуванду привёз двадцать восьмого октября, и привёз он его тремя корпсами.

Двадцать шесть мешков ячменя, восемь чечевицы, две корзины соли, горшок масла, бечева, смола и связка медных лезвий — всё в долг, всё под весну, всё записано на плитке Нассы двумя строками: что взято и чем отдадим.

С ним наконец ушла весть на Саринт: у Тиссы дочь, зовут Тавва. Хуванду обещал передать при первой встрече с островной лодкой.

Разгружали полдня. Я стоял в цепочке третьим от воды и таскал наравне со всеми, и в какой-то момент поймал себя на том, что считаю не мешки, а людей на откосе: сколько наверху, сколько внизу, кто где встанет, если сейчас из-за мыса выйдут двое.

Никто не вышел. За три дня до этого Туммо просидел на своём камне от рассвета до темноты и видел четыре паруса, и все четыре шли мимо и знали куда.

Цистерну к тому дню закрыли. Обмазку кончили в середине октября, плиты положили через два дня после моего возвращения, горловину оставили с деревянной крышкой, как у Валлы, и канавку сверху довели до неё по камню, подмазав глиной на всех перегибах. Она стояла пустая несколько дней, а потом, в двадцатых числах, прошёл первый настоящий дождь, и к утру в ней было на две ладони, и половина берега в тот день поднималась туда смотреть, как летом поднимались смотреть на муть в яме.

А вечером после разгрузки Хуванду сказал мне то, что я потом вспоминал всю зиму.

Мы сидели у его навеса под северной скалой — у него к тому времени уже стоял там навес, и он его запирает, и это было единственное запертое место на всём нашем берегу, — и он ел и рассказывал про дорогу.

— На четырёх стоянках спрашивали про вас.

— Что спрашивали?

— Сколько у вас людей. И правда ли, что вы взяли муку с воды.

Я не понял, и он объяснил.

Летом, когда мы вытаскивали со дна мешки, на берегу было человек шесть чужих: двое с Кирны, трое из бухты и мальчишка, которого привёз кто-то попутный. К октябрю из этого вышел рассказ, который Хуванду слышал трижды в разных местах и в третий раз уже с подробностями: что на новом берегу живут люди, которые берут муку в долг мешками, а потом ещё и достают её из моря; что у них есть чаша и есть вода; что они платят обсидианом и медью.

— Про воду у вас говорят хорошо. Про муку плохо.

— В чём разница?

— Вода — это про то, что вы выжили. А мука — это про то, что у вас есть.

Я в тот вечер отнёсся к этому спокойнее, чем следовало.

Я подумал про Ламмо — что надо будет сказать ему, чтобы он говорил на берегах, что холм сел и что за холм отвечает он. Подумал, что надо бы поставить второй пост на ночь, и тут же подумал, что годных мужиков у меня двадцать два, что из них двое каждый день на мысу, двое в чёлнах и трое у Санно на стене, и что ночной пост стоит мне двух человеко-дней в сутки, а зима будет длинная.

Я поставил одного. Одного на откосе, от темноты до света, со сменой в середине ночи, и тем успокоился.

Я записываю это без оправданий. Я знал, что нас слышно на четырёх стоянках. Я знал, что у нас на берегу лежит еда на зиму для ста шести человек. Я выставил одного человека и лёг спать, и спал пять ночей подряд хорошо.

На шестую меня разбудило то, чего не было.

Ночь со второго на третье ноября была тёмная и тихая. Безлунная, без ветра, с низкой облачностью, какая у нас тут ложится в начале зимы: не туман, а именно низкое, когда море слышно, а не видно.

Я проснулся и лежал. Я лежал и не понимал, отчего проснулся, и это состояние мне было хорошо знакомо и по прежней жизни, и я знал, что в нём нельзя вставать сразу, а надо лежать и слушать, пока не поймёшь, чего недостаёт.

«Товарищи курсанты. Человек просыпается не от звука. Он просыпается от того, что звук пропал. Не вскакивайте. Лежите и перебирайте, чего сегодня не было: собаки, воды в трубе, шагов наверху. Пока не назовёте — не вставайте, иначе выскочите не туда и не с тем. А назовёте — вставайте сразу и не ждите второго подтверждения. Второго обычно не бывает».

Гуляев, второй курс, ночная служба. Единственное его правило, которое мне однажды пригодились ровно так, как он говорил.

Недоставало щебня.

У нас смена на откосе спускалась по короткой стёжке мимо гряд, и там на повороте лежала осыпь, которую мы в сентябре подсыпали и не утоптали, и человек, идущий по ней в темноте, ссыпает вниз горсть мелочи. Каждую ночь, примерно в одно и то же время, в середине ночи, внизу было слышно: шшшш — и через три шага ещё раз.

Я слышал этот звук пять ночей и ни разу его не заметил. А на шестую он не пришёл.

Тисса не спала. Она в те недели вообще спала мало: Тавва после болезни ела часто и плохо, и Тисса вставала к ней по три раза за ночь и днём ходила с серым лицом.

— Ты куда? — спросила она шёпотом.

— Смена не прошла.

— Кисто её увёл раньше. Он вечером говорил Дессо, что по осыпи скользко и что они будут ходить верхом, через гряды. При мне говорил.

Вот и всё.

Я лежал ещё, наверное, минуту и злился на себя за то, что поднялся, и на Кисто за то, что он поменял дорогу и не сказал мне, и на осыпь, и на то, что у меня в поселении шестой месяц каждая мелочь решается тем, что кто-то что-то кому-то сказал при ком-то.

Потом всё-таки встал и вышел. Не потому, что чуял беду, а потому, что человек, который проснулся от изменившегося звука и лёг обратно, не проверив, следующие два часа всё равно не спит.

Снаружи было темно и тихо.

Я постоял у своего дома, привыкая к темноте, и стоял довольно долго — дольше, чем хочется стоять в третьем часу в одной рубашке, но глаз берёт это время и не отдаёт. Отсюда, от верхнего края площадки, было видно четыре пятна там, где под навесами сидели ночные огни, и был слышен прибой, и больше ничего.

Я прошёл до Стола. У Стола висит на двух верёвках плоская плита — её подвесил в июле Пессо, через три дня после схода, на котором мы разбирали потерю муки, и с тех пор два удара по ней означают «все сюда», а три — «чужие». Я тронул её ладонью, чтобы не звенела, и пошёл дальше, к откосу.

На откосе сидел Лаппо. Он не спал, сидел на своём месте, завернувшись в две тряпки, и смотрел на воду, и, когда я подошёл, не вздрогнул, а сказал, не оборачиваясь, что всё тихо.

— Кисто был?

— Был. Верхом, часа два назад. Сказал, чтоб я сидел до света: он завтра на подсыпке.

— Что видел?

И вот тут он сказал то, ради чего мне и надо было выйти, и сказал совершенно спокойно, как говорят про то, с чем уже разобрались:

— Лодка приходила к Хувандовой скале. Часа полтора назад. Я смотрел, она обошла и встала под скалой. Я решил, что это его люди, потому что кто ещё туда пойдёт ночью.

Я потом двадцать раз прокручивал эту минуту и каждый раз понимал, что рассуждал он правильно.

Лодка пришла с севера, зашла в бухту не к гальке, а под скалу, туда, где сухо и где стоит запертый навес Хуванду; стояла там; людей на воде не было слышно. Хуванду в тот день ушёл вдоль цепи на восход и обещал вернуться за оставшейся бечевой через день или два.

Мальчишка четырнадцати лет, шестую неделю сидящий на этом откосе, сложил два и два и получил ровно то, что получил бы всякий. Он даже сделал больше, чем я мог от него ждать: он пошёл посмотреть. Спустился по откосу до вытяжки, постоял, послушал, никого не увидел и вернулся на место, и, поскольку ничего не случилось, решил не будить сто шесть человек.

— Сколько корпусов?

— Один.

— Ты видел, как он уходил?

Он подумал.

— Нет.

— Ты видел, как он заходил, и не видел, как он ушёл. С тех пор прошло полтора часа. Сходи разбуди Кисто. Тихо.

— Три удара?

— Нет. Ногами.

Дальше у меня было минуты четыре, и я эти четыре минуты потратил на то, чтобы сходить и посмотреть самому.

Я пошёл берегом, низом, вдоль вытяжки, к северной скале. Шёл так, как ходят, а не так, как крадутся: человек, который крадётся по гальке, слышен вдвое дальше, чем человек, который идёт. Галька у нас мелкая и звонкая, по ней вообще нельзя пройти тихо; можно только пройти обыкновенно.

Под скалой было пусто. Навес Хуванду стоял запертый, засов на месте, лодок на вытяжке три, все наши, все на местах, вода у скалы чёрная и ровная.

Я постоял там, наверное, полминуты.

Если бы на этом всё кончилось, я бы вернулся, лёг и утром рассказал Кисто, какой он дурак, что не доложил про смену. Но на этом не кончилось, и я успел сделать ровно два шага обратно.

Потому что я услышал коз.

Наш загон стоял к северу, за грядами, шагах в восьмидесяти от нижнего ряда домов. Поставили мы его в сентябре — плетёный загон и при нём сарай: низкий, из жердей и тростника, с каменным основанием в два ряда, для фуража, сетей и сушёной рыбы. Место выбирали долго и выбрали дальнее: скот у жилья — это мухи, запах и дети в навозе, и это Дессо тогда настоял, и я согласился.

Коз у нас к ноябрю было четырнадцать. Одна своя, старая, привезённая ещё с Саринта; одна молодая, белая с рыжим боком, которую привёл Ламмо взамен той, что мы зарезали в июле; и двенадцать выменианных в сентябре у людей Кирны на две связки медных лезвий и на восемь наших рабочих дней. Выменивал их я сам и торговался четыре дня, и считал это одним из лучших своих дел за то лето: двенадцать коз — это молоко зимой для тех детей, которые иначе зиму не пройдут.

Козы ночью стоят. Они стоят, переступают, ложатся, иногда одна встанет и пойдёт, и это слышно как отдельный редкий звук. А тут они пошли все сразу, и пошли в один угол, и загон затрещал.

Так они делают, когда мимо идёт человек.

Я развернулся и побежал к Столу, и, пока бежал, у меня сложилось то, что потом оказалось верным во всём, кроме одного.

Они не воевать пришли. Воевать приходят к людям, а эти зашли с севера, встали не у гальки, а в мёртвом углу под скалой, полтора часа стояли тихо и первым делом пошли не к домам, а к загону: то есть берут скот и то, что лежит снаружи, и берут быстро, и уйдут, как только руки будут полны. Значит, держать надо не берег, а дома и загон, и держать одновременно, и людей на это у меня нет.

Единственное, чего я в ту минуту не знал, — сколько их.

Я ударил в плиту три раза. Потом ещё три.

Вот здесь надо сказать, чем эта ночь отличалась от июля, потому что отличалась она сильно, и отличалась она не мной.

В июле я кричал, и меня не поняли, и девять мешков остались лежать, и над каждым стоял свой человек.

В ноябре я ударил в плиту, и берег встал так, как его учили вставать: без огня, без вещей, к Столу.

Пессо вышел из своего дома с пустыми руками. У него в углу лежало полтора мешка ячменя, взятого с зимнего груза, и он их не взял и на них не оглянулся, и я это видел от Стола, и запомнил, и отдельно скажу, чего мне это стоило потом.

Но вышли так не все. Двое из двора Пинда пошли не к Столу, а к воде — летом их гоняли к воде. Женщина из двора Марры стояла у своего входа и кричала, и на неё кричали соседи, чтобы она замолчала. Кто-то тащил горшок с маслом.

А Ландо вылез наружу с зажжённой лучиной.

Он не услышал трёх ударов — он вообще плохо слышал с того июньского обвала, и все на берегу знали, что к нему подходят справа, — и, проснувшись от шума и ничего не поняв, сделал единственное, что делает человек, который хочет понять, что происходит.

Он стоял с лучиной в поднятой руке посреди прохода и светил.

И в этом свете я увидел их.

Их было четверо между домами нижнего ряда, и они были от меня в двадцати шагах.

Они шли не к воде и не к нам. Они шли вдоль нижнего ряда, от крайнего навеса к третьему, и двое уже несли — один мешок, другой что-то в охапке, — а двое шли впереди с копьями, быстро и молча.

Дальше, за ними, у загона, было светлее. Там уже занялся сарай.

Со мной у Стола было четверо: Кисто, прибежавший от верхних домов, Умпо, Пессо и Тирро, который в ту неделю ночевал у нас: чинил с нашими сеть и не успел вернуться к себе. Ещё человек десять подходили снизу и сверху, поодиночке, в темноте, и половина из них не понимала, где я.

В июле я вывел людей из горла и потерял единственное место, где мы были сильнее, и четыре месяца носил это в себе. И в июле же выучил вторую половину того же урока: узкое место держит дорогу, а у берега, раскиданного по площадке, дороги нет. Если я встану в проход

и буду его держать, я буду держать три шага ширины, а брать будут в другом месте, и я даже не увижу где.

Поэтому я не встал никуда. Я разделил.

Кисто с тремя я поставил в проходе между вторым и третьим домом — там, где между стенками три шага и где четверым не разойтись, и куда упирался единственный путь от нижнего ряда наверх, к людям. Ему я сказал одно: стоять и не выходить, даже если мимо понесут мешки, — за спиной у него спали дети.

Двоих из подошедших я отправил вниз, к скале, где сидела Насса, — и это были первые двое, которых я мог отправить, и оба оказались мальчишки, и я всё равно их отправил.

А сам с Тирро, Умпо и Пессо пошёл к загону, низом, мимо гряд, за спину тем четверым. Я успел ровно наполовину.

Те четверо, у нижнего ряда, слышали, что мы идём, и не стали драться. Они бросили то, что несли, — не всё, а то, что мешало, — прошли двадцать шагов вдоль воды к северу и растворились в темноте у скалы, и с ними ушли два мешка ячменя и корзина соли из крайнего навеса.

А у загона стояли ещё трое, и вот их я не считал — считать было нечем.

И вот тут началось то, чего июль мне не показывал.

В темноте при горящем сарае видно хуже, чем в полной темноте. Огонь бьёт в глаза, всё за огнём чёрное, и всё, что движется, движется как тень без лица. Свои от чужих отличаются только голосом, а голоса у всех сорваны, и половина кричит, и кричит на двух языках.

Я в ту ночь дважды поднимал нож на своего.

Первый раз это был Умпо, который зашёл мне справа. Я взял его за плечо и развернул и только тогда узнал, и он посмотрел на меня и ничего не сказал.

Второй раз — мальчишка из двора Марры, лет двенадцати, которого вообще не должно было быть ни в одном проходе. Я его не ударил. Я просто очень хорошо помню то место, где остановилась моя рука, и помню, что остановилась она не от того, что я его узнал, а от того, что он был ростом мне по грудь.

Одного я у загона взял.

Он выходил из-за угла сарая, спиной к огню, с копьём в правой, и он меня не видел, потому что смотрел в темноту, а я стоял в темноте. Это, собственно, вся разница: тот, кто стоит спиной к огню, слеп на десять шагов вперёд, и это знают все, и все всё равно встают спиной к огню.

Я вышел сбоку, принял древко на предплечье и пошёл внутрь, и он был легче меня и пошёл назад, и я вёл его назад, и всё это время думал очень отчётливую мысль: живой он стоит дороже.

Умпо стоил. Умпо к ноябрю носил воду, спал под скалой без верёвки и сидел у меня во дворе в ночь, когда рожала Тисса.

Я вёл его спиной вперёд, чтобы положить и держать, и в двух шагах за ним было каменное основание сарая — два ряда плитняка, которые мы клали в сентябре и которыми я, помню, был доволен.

Он споткнулся о него пяткой и пошёл затылком.

Звук был короткий и совершенно не тот, которого ждёшь.

Я перевернул его и держал ему голову, и он дышал ещё минуты две, и я сидел рядом на корточках при горящем сарае и держал ему голову, и ничего другого сделать не мог.

Я его не убивал. Я его вёл.

Сарай горел уже весь.

Тростник берётся мгновенно и горит с треском и искрами, и к нашему приходу от кровли остались только жерди, и они падали внутрь, и внутри горел фураж, который мы возили с пастбища три недели.

Загон был открыт. Не сломан — открыт: жерди в западном углу были вынуты и положены в сторону, аккуратно, и через этот угол их и выгнали.

Коз не было.

Я стоял в свете горящего сарая, смотрел на открытый угол и считал — не коз, их было не сосчитать, — а время: сколько нужно, чтобы выгнать двенадцать коз на тропу, и сколько прошло с тех пор, как я услышал, что они пошли в угол. Выходило, что они начали с загона и что я опоздал минут на восемь.

Дальше было главное, и оно заняло примерно столько же, сколько сама драка.

Люди разделились сами, без всякого моего приказа, и разделились на три части. Одни бросились тушить. Вторые побежали за козами, на тропу, вверх, в темноту, по двое и по одному, и первым побежал Кисто, бросив проход, и с ним человек пять. Третьи остались стоять.

Я закричал на тех, кто побежал, и они не остановились. Я догнал их на подъёме и встал поперёк тропы.

Скажу честно: мне в ту минуту самому хотелось идти. У меня за спиной горело, у меня угнали двенадцать выменянных коз, и я знал, что впереди в темноте идут люди, гонящие стадо по разбитой осыпи, и что стадо идёт медленно, и что догнать их можно. Я даже знал как.

А дальше я посчитал, и посчитал вслух, потому что кричать на людей, которые бегут за своим, бесполезно, а считать при них иногда помогает.

Гуляев говорил это прямо: бегущего за своим криком не остановишь, он вас не слышит; его останавливает счёт, потому что счёт он разбирает даже на бегу.

— Их было четверо внизу и трое у сарая. Сколько их на лодке, я не знаю, и лодки я не вижу. Если мы уйдём вверх шестью человеками, внизу останутся дети, огонь и открытые дома, и тот, кто сидит в лодке, зайдёт и возьмёт всё, что мы вытащим из огня.

— Они уведут наших коз, — сказал Кисто.

— Да.

— И всё?

— И всё. И проход ты оставил пустым.

Он постоял, потом пошёл обратно, и остальные пошли за ним, и я до сих пор не знаю, почему он послушался. Я думаю, что не из-за счёта. Я думаю, что дело было в том, что летом, в июле, при двенадцати свидетелях, я вынул у него из рук камень над головой мальчишки и ничего ему за это не сделал; и что он с тех пор считал, что должен мне один раз.

Он потом никогда об этом не говорил, и я не спрашивал.

Тушить сарай было уже нечего, и мы его не тушили.

Мы тушили то, что к нему прилегал, и вот тут я понял, каким дураком был в сентябре, когда выбирал место для загона подальше от жилья и радовался, что там сухо.

Там было сухо и открыто, и от сарая тянуло на северо-восток, и в двадцати шагах с подветренной стороны стояли дом Марры и навес двора Ландо: осенью нижний ряд пополз в эту сторону, и никто, включая меня, не спросил, почему он ползёт к загону.

Он полз туда потому, что там ровно.

Крышу у Марры схватило от искр. Тростник тушат не водой, а тем, что его сдирают. Воды у нас было по полчерпака на человека в сутки, и за неё осенью грызлись насмерть, и мы в ту ночь не вылили на огонь ни одного черпака: мы сбивали искры мокрыми тряпками и рвали кровлю баграми и руками, и я стоял на стене её дома и сдирал с обрешётки связки тростника, и кидал их вниз, и внизу их затапывали.

Мы сорвали ей крышу целиком за то время, за какое её ставили полтора дня.

Зато навес Ландо не занялся вовсе.

А Насса в это время кричала снизу.

Она была там, где ей и положено было быть: под скалой, в двух шагах от того места, где она держит посуду, — там, где камень над головой и где стоят все наши плитки. И там же,

на циновках, сидели восточные дети, которых она с июня собирала к себе на ночь, когда их матери работали в две смены, и в ту ночь их у неё было одиннадцать.

Кричала она не про плитки и не про то, что горит.

Она кричала, что между нею и Столом только что прошли люди, что она их слышала, что у неё одиннадцать детей и двое мальчишек четырнадцати лет и что, если сейчас кто-нибудь не придёт и не встанет у неё на входе, она поведёт их вверх по тропе сама.

Вверх по тропе. Туда, куда только что угнали коз.

Я снял с крыши троих и отправил к ней. Я снял их с горящей кровли, где нас было шестеро и мы едва успевали, и Марра орала на меня с земли, что я отдал её крышу.

Я её отдал. Отдал сознательно, за то, чтобы одиннадцать детей не пошли ночью на тропу и чтобы у входа под скалу стояли трое взрослых с чем-нибудь в руках.

Насса, когда к ней пришли, ничего никому не сказала.

Потом она весь ноябрь напоминала мне про эту ночь, и напоминала ровно одной фразой:

— Я звала три раза.

Кончилось всё быстрее, чем началось.

К тому времени, когда мы содрали крышу у Марры, на берегу уже никого чужого не было: те, кого мы видели у нижнего ряда, ушли к северу вдоль воды, и там, под самой скалой, их взяла лодка — она стояла не в бухте, а за камнем, снаружи, и Лаппо её оттуда видеть не мог, и я, когда ходил смотреть, не мог тоже.

Кто-то из наших видел, как она отваливала, и сказал: восемь вёсел. Он мог ошибиться. Я потом спрашивал ещё троих и получил шесть, восемь и «много».

Убитых у нас не было.

Раненых — четверо: Кисто, порез по левой руке от локтя до кисти, глубокий; Митта, жена Пессо, обожгла обе ладони, когда хватала горящую связку голыми руками; мальчишка из двора Марры — вывих плеча, и я до сих пор думаю, что это был тот самый мальчишка; и Ландо, который на своей палке упал в проходе и заново разбил ту же ногу.

Чужой был один. Тот, которого я вёл.

Отбой я дал перед рассветом.

Слово это моё, здешние его не знают; у них нет слова для той минуты, когда тревога кончилась, а люди ещё стоят. Я сказал его по-русски, один раз, вслух, стоя у Стола, и оно у нас прижилось.

Потом я сел на камень и просидел так, наверное, четверть часа. Не отдыхал. Я в эти четверть часа обошёл в голове всё, что сделал с той минуты, как не услышал щелчка, и нашёл шесть мест, где надо было делать иначе, и на седьмом бросил — ко мне подошли.

Рассвело в начале седьмого, серое и мокрое, с той моросью, которая тут в ноябре стоит часами и ничего не смачивает.

Берег к этому часу выглядел хуже, чем ночью. Ночью было видно огонь, а утром стало видно, чего нет.

Сарая не было вообще: остались каменное основание в два ряда, чёрная земля и жерди. Фураж сгорел весь. Сети, которые мы там держали, — четыре штуки, две из них новые, вязанные с бухтой пополам, — сгорели тоже; это, между прочим, был отдельный удар: половина сетей была не наша, а Каппо.

У Марры стояли четыре стены без кровли и мокрая зола внутри. У двора Ландо обгорел угол и две жерди.

Из крайнего навеса вынесли два мешка ячменя и корзину соли.

Коз угнали двенадцать. Две остались на месте: старая саринтская, которая ночует не в загоне, а у навеса Касси — иначе она не даёт молока, и молодая от Ламмо, которая в ту ночь стояла на Козьей Голове и вниз не пошла. Третья вернулась сама часов в десять утра — одна из выменянных, сорвавшаяся с тропы, совершенно целая, с ободранным боком.

Чужого мы смотрели втроём: я, Дессо и Каппо, который пришёл из бухты к восьми: зарево у нас было видно от них.

Ему было лет тридцать пять. Он был не худой и не оборванный. На нём была нормальная рабочая рубашка, лучше моей, и пояс с медной пряжкой, и башмаки; руки у него были рабочие, с наростами от весла в тех самых местах, где они у всех, кто гребёт; на ладони старый шрам от крючка, какой бывает у тех, кто ловит.

При нём был нож — хороший, медный, с рукоятью из кости. Копьё было обычное.

Каппо смотрел на него долго.

— Это не те.

— Почему?

— Те ходят на длинных и низких и босиком. У них не бывает башмаков. Башмаки нужны тому, у кого есть двор.

— А кто?

Каппо пожал плечами.

— Он с берега. Из какой деревни — не знаю. Думаю, у него в этом году ничего не выросло, а у нас теперь есть что взять.

Он сказал «думаю», и я это отметил, потому что он редко так говорил.

Дессо посмотрел на башмаки и сказал, что башмаки могли быть и снятые. Что он сам видел, как с убитого снимают обувь, и что человек, который ходит вдоль и берёт, обут ровно в то, что взял.

Они не поспорили. Каждый остался при своём, и я остался без ответа, и так с этим и живу.

Похоронили его в тот же день, выше линии прибоя и в стороне, и на этот раз я заранее сходил к Нирто и спросил, где можно. Он показал место за грядами, у камня, и сказал, что там ещё двое, и что эти двое лежат там давно, и кто они, никто не помнит.

А дальше, у остывшего основания сарая, у меня случился разговор, который я считаю по-настоящему важным для всей той зимы.

Людей собралось человек тридцать. Все, кто не спал, то есть почти все.

Первым говорил Пессо. Он сказал, что виноват пост. Сказал это не со зла и не в горячке: он сказал это как человек, который всю ночь таскал и у которого жена сидит с обожжёнными ладонями.

— Мальчишка видел лодку и промолчал до утра. Ударил бы в плиту, когда она заходила, — мы встретили бы их у воды.

— Правильно, — сказал кто-то.

Лаппо стоял тут же. Он не оправдывался. Он стоял красный, смотрел в землю, и ему было четырнадцать лет, и вокруг него стояло тридцать взрослых.

Я мог его наказать. Скажу больше: в ту минуту это было бы самое лёгкое и самое приятное для всех решение. Людям, у которых ночью сгорела крыша и пропали козы, нужен не порядок, а виноватый, и я мог его дать, и все бы разошлись довольные.

— Он видел один корпус, идущий к Хувандовой скале, и решил, что это Хуванду. Я в ту же ночь сходил под скалу сам и увидел ровно то же, что он: пустую воду и запертый навес. Если бы козы не пошли в угол, я бы с тем же и вернулся.

— Ты не сидел на посту.

— Я сидел за поселение. Это хуже.

И дальше я сказал то, что думал с рассвета и что было единственным полезным выводом той ночи.

— Пост сделал свою работу: он увидел лодку. Он не сделал второй, потому что мы ему её не назначили. Человек на откосе должен бить в плиту не тогда, когда понял, а тогда, когда увидел то, чего не понял. С этой ночи так и будет: один корпус ночью в бухте — три удара, и мне всё равно, сколько раз мы встанем зря.

Дальше заговорил Дессо, и сказал такую вещь, которой я от него не ждал.

— Загон поставил я.

Он сказал, что в сентябре три дня спорил со мной, чтобы загон отнесли за гряды, и что я тогда хотел ближе, а он настоял на дальнем — мухи, навоз и вода, и что он до сих пор считает, что у жилья скот держать нельзя, и что вчера из-за этого сгорел сарай и ушли козы.

— Значит, это моё.

— Это моё. Я согласился.

— Ты согласился с тем, кто знает про скот больше тебя.

— А выбирал место тот, кто должен считать, сколько до него бежать ночью. Это я и не считал.

А потом встал Пессо во второй раз, и вот этого я ждал всю ночь.

— Я вышел пустой, — сказал он. — У меня в углу лежало полтора мешка. Я их не взял, потому что ты в июле сказал, что кто станет над своим мешком, останется над ним один.

Он помолчал.

— Их забрали. Они лежали в крайнем навесе, и их забрали.

Берег стоял тихо, и я понимал, что сейчас скажут.

Сказала не Марра и не старуха из дома Тавы. Сказал кто-то сзади, негромко, и оттого хуже:

— А кто не вышел пустой, у того осталось.

Это была правда. Двое, которые потащили своё, дотащили. Женщина с горшком масла сберегла масло. А Пессо сделал то, что я велел, и остался без зимы.

— Двор Пессо получает полтора мешка из общего. Сегодня, при всех, и Насса запишет. И так будет всякий раз, когда человек отдаст своё по моему слову: отдал по слову — получил обратно от нас. А кто вынесет своё и сбережёт — тот сберёг, и ему я ничего не скажу, и никто не скажет.

Пессо на это ничего не ответил. Он взял полтора мешка и унёс.

А я стоял и считал, во что мне обойдётся эта строка, если такая ночь повторится трижды, и понимал, что до весны мне её не потянуть.

Вот на этом месте разговор развернулся сам, без меня.

Потому что, если виноват не мальчишка, и если отдавший по слову получает обратно, то остаётся единственный вопрос: что мы делаем сегодня.

И тут стало видно, что все, кто стоял у чёрного основания сарая, думали об одном и том же и думали, видимо, с ночи.

Марра сказала, что её крышу сорвал я, и что она это признаёт и не спорит, но что новую там же ставить не будет.

Касси сказала, что не будет спать в крайнем навесе.

Старуха из дома Тавы сказала, что на Саринте у них было двадцать два двора, заложенных с внешней стороны камнем, и что там никто не выходил ночью с огнём, потому что выходить было некуда: снаружи была стена из своих же домов.

Я сказал то, что думал всю ночь, и сказал коротко.

— Ночью нас спасло не то, что я умею драться. Ночью нас спасло то, что они пришли брать, а не убивать. Я это прочёл правильно и развёл людей правильно, и всё равно опоздал к загону на восемь минут, потому что от Стола до загона восемьдесят шагов, а от Стола до нижнего ряда двадцать, и я не могу быть в двух местах.

И дальше:

— У нас двадцать домов и навесов по всей площадке, загон в восьмидесяти шагах, тропа наверху и вода внизу. Чтобы просто увидеть это всё разом, нужно четыре человека, стоящие по углам. Чтобы удержать — двадцать. У меня их двадцать два, и половина из них завтра пойдёт за камнем, иначе мы не доживём до весны без стены. Если придут четверо таких же, мы

отобьёмся. Если придут двенадцать — отобьёмся и потеряем половину домов. А если придут двенадцать ночью и разом с двух сторон, я не защищу ни одного, и никакой пост этого не изменит, потому что пост говорит, что они идут, а не мешает им прийти.

— Нам нужна ограда.

И вот тут выяснилось, что я опоздал с этой мыслью примерно на четыре часа: люди Каппо уже шли по тропе с корзинами.

Их пришло из бухты девять человек: Каппо, Тирро, двое двоюродных Каппо, трое из дворов у воды и две женщины.

Пришли они не по договору, потому что никакого договора на этот случай у нас не было, и не по моей просьбе. Они пришли потому, что у них сгорели две сети в нашем сарае. Потому, что зарево от нашего берега видно из их бухты, и если сегодня горит у нас, то завтра может гореть у них. И потому, что Тирро в ту ночь был здесь и утром прибежал домой и рассказал так, как умеет рассказывать Тирро, и Валла его выслушала и отправила людей — и при этом велела передать мне, что сети стоят восемь корзин рыбы и что она их с нас снимет.

К полудню подошли ещё двое от Нирто.

От Ламмо не пришёл никто, и он узнал обо всём на четвёртый день, и это стоило нам потом отдельного разговора, и виноват в этом был я, потому что дважды в сентябре отказал ему в сопровождении.

К вечеру третьего ноября на площадке стояло сорок с лишним человек, готовых работать.

Я взял палку и за полчаса нарисовал на утоптанной земле у Стола то, о чём думал с рассвета: обвод по краю площадки, от осыпи на севере до откоса на юге, с опорой на подпорную стену Санно, которая к тому времени стояла пятью рядами и держала гряды.

Длина у меня выходила сто двадцать шагов.

И вход я нарисовал сразу один, и нарисовал его не дырой, а коленом.

Я знал про это больше, чем про кладку. Прямой проём — это не вход, это место, где стены нет: через него видно насквозь, в него входят в ряд, не сбавляя шага, и всякий, кто стоит внутри, виден снаружи раньше, чем сам увидит. Проход надо ломать. Стена идёт, обрывается и заходит сама за себя; снаружи видно вход, а внутри — глухую стенку; человек делает два поворота и на втором оказывается лицом к камню, а сбоку и сверху от него стоит тот, кто спрашивает, кто он такой. И проходить он должен по одному, а не в ряд.

Я нарисовал это палкой и сказал ширину: полтора шага.

— Мешок на плече боком пройдёт, — сказал я. — Коза пройдёт. Двое в ряд — нет.

Пессо тут же сказал, что это час лишнего на каждой разгрузке, и был прав: у нас на берег приходят лодки, и с лодок носят мешки цепочкой в двадцать человек, и горлышко в полтора шага — это лишний час и ссора на каждом повороте.

— Тридцать разгрузок в год, — сказал я. — Тридцать часов. Сравни с этой ночью.

Спорить он не стал.

Санно всё это время сидел на камне и смотрел на мой чертёж. Потом встал и сказал:

— Колено — это хорошо. Твоя линия — нет.

И мы с ним из-за линии проспорили полтора дня.

Он начал не с входа. Он прошёл всю мою линию из конца в конец, дважды, и на трёх участках сел на корточки и поковырял.

— Здесь опять осыпь.

— Знаю. Снимем её под первый ряд, как под грядками, до серого слоя.

— Сто двадцать шагов до серого слоя — это не гряды. Это две зимы.

И он объяснил, и объяснил при Дессо, и Дессо стоял и слушал так же, как в июле, с тем же лицом.

У меня было три разных грунта на одной линии, а вести одну стену по трём грунтам одинаково нельзя.

На южной трети, у откоса, серый слой выходит почти наружу — там снимать полшага, там можно класть сразу, и там стена может стоять высокая. В середине, там, где площадка, под ногами утоптанная земля с камнем — там надо копать до плотного, локтя на полтора, и это долго. А на северной трети, вдоль осыпи, под всем лежит та самая ползущая мелочь, по которой зимой идёт вода, и там класть стену нельзя вообще: она поедет вместе с осыпью, как поехал мой первый ряд в начале июля.

— А что там делать?

— Или отступить внутрь, на твёрдое, и потерять площадку. Или сначала сделать то, что мы сделали под грядками, и только потом ставить.

— Сколько?

— До весны.

Я в тот момент сказал ему то, что говорят все начальники на свете, и сказал тем же голосом, каким говорили мне.

— У меня нет до весны. У меня есть сорок человек сегодня, и через неделю их не будет.

Он ответил спокойно:

— Тогда поставь до весны плетень и колючку, а стену начни там, где она встанет.

Вот этого я не ожидал. Я ждал, что он будет требовать делать всё по-своему и сразу, и приготовился объяснять ему про людей и про зиму, а он предложил мне временное, и предложил его первым.

Так мы и сделали.

Южная треть, от откоса до Стола, — каменная, сразу и всерьёз, на серый слой, толщиной в полтора локтя внизу, с продухами через три шага. Средняя — каменная, но в этом году только основание и два ряда, дальше весной. Северная, вдоль осыпи, — плетень на кольях, в рост человека, с колючкой поверху и с внешней канавой, и всё это с ясным сроком: пока не снимем осыпь.

Сто двадцать шагов обвода я в итоге сократил до девяноста двух, отступив на севере внутрь на четыре шага и отдав осыпи полосу, на которой стояли два навеса.

Навесы переносили те, кто в них жил. Первым перенёс свой Пессо, который в июле спрашивал, зачем ему стена, если его гряд наверху нет.

А про второй вход спор всё-таки был, и был он короткий.

Я хотел на ночь закладывать верхний проход камнем и держать днём оба: нижний, широкий, к гальке, под разгрузку, и верхний, узкий, к тропе, для коз и воды.

— Два входа — две ночные стражи, — сказал Санно. — У тебя людей на одну.

Это я мог оспорить и оспаривал, и считал вслух, и досчитался до того, что вторая стража стоит мне двух человек каждую ночь всю зиму, то есть ровно столько, сколько я не поставил в октябре.

— Один вход, — сказал я. — Колено. И створка.

Тогда он взял у меня палку и стал показывать, как это делается из того, что у нас есть.

Створку в проём такой ширины не навесишь: нет петель, нет дерева на раму, нет человека, который её навесит. Значит, створка стоит не в проёме, а за ним, изнутри колена, там, где её не видно снаружи и где на неё нельзя навалиться разбегом. Стоит она на двух каменных пятках, вытесанных под пяту, и запирается поперечным брусом, который заводится в гнёзда, оставленные в кладке при кладке, — а значит, гнёзда надо закладывать сейчас, а не выбивать потом.

— Кто её сделает?

Он посмотрел на меня как на человека, который пять месяцев не спросил самого простого.

— Я.

Оказалось — и это я узнал только в тот день, на пятом месяце знакомства, — что он не просто каменщик. В Кирне он был из двора, который делал вытяжки и чинил лодки, и тесать он умел раньше, чем класть, и, когда зашла речь о створке, он ушёл к вытяжке и часа через два вернулся с рамой.

Щит вышел из жердей, связанных в два слоя крест-накрест и обшитых снаружи тем, что нашлось. А брус он вытесал за день и вытесал из обломка кормового бруса старого челна, который лежал у нас на вытяжке с июня и который я трижды собирался пустить на дрова.

Насса сказала, что она его как раз и собиралась пустить на дрова, и что теперь у неё нет ни бруса, ни дров, и что она это запишет.

— Записывай, — сказал он.

Дальше они спорили до темноты, и спорили не про брус.

Он поставил створку так, что она открывалась внутрь и направо, и сказал, что так правильно.

Она сказала, что так неправильно: справа от входа у неё стоит посуда и сушится рыба, и что каждый раз, когда створку откроют, её будут закрывать о её горшки, и что на это уйдёт вся зима и все горшки.

— Переставь посуду.

— Переставь створку.

Он сказал, что створка навешена по камню и что перевесить её — это перебрать пятку.

— Сколько?

Он подумал.

— Полдня.

— Вот и переберёшь.

И он перебрал. Он перебрал её на следующее утро и потратил на это не полдня, а весь день: вторая пятка легла плохо и её пришлось вынимать; и он весь этот день ругался; и Насса раза четыре проходила мимо со своими горшками и один раз остановилась и постояла.

Я это видел от Стола.

Я стоял и смотрел, как немолодой каменщик из Кирны перекладывает камень, чтобы женщине с одиннадцатью чужими детьми не пришлось переносить посуду, и как эта женщина ходит мимо и делает вид, что идёт по делу, и до меня доходило медленно, потому что я в тот день думал про плетень и про колючку.

Я, кажется, единственный на всём берегу, кто это заметил последним. Тисса потом сказала, что знала с июля.

Всё, что я написал про ограду, заняло две недели. А в тот первый вечер, третьего ноября, когда на месте сарая ещё тлела зола и у неё дежурили двое, я чинил дверь.

Никакой двери у нас, конечно, не было. У нас был вход, завешенный шкурой на двух жердях, и одну жердь в ту ночь выломали — не чужие, а наши: кто-то из бегавших в темноте налетел на неё плечом.

Я тесал новую жердь у очага, при лучине, и тесал долго — тесать я умею плохо.

Тисса сидела рядом и кормила. Тавва к тому дню ела уже хорошо и сама, и после болезни начала прибавлять, и в ту неделю Тисса впервые за месяц спала одну ночь подряд от темноты до света — но не эту ночь и не следующую.

— Покажи руки.

Я показал. Ладони у меня были ободраны о тростник, и на левом предплечье шла длинная ссадина от древка, и она посмотрела на это и ничего не сказала.

Потом спросила:

— Чего ты испугался?

Я сказал сначала неправду, и сказал её не нарочно: я сказал, что испугался за груз.

Она подождала. Она это умеет — ждать ровно столько, сколько нужно, чтобы человек услышал сам себя, и я это за ней знал и всё равно каждый раз попадался.

И я сказал, как было.

— Я в темноте два раза поднял нож на своего. Первый — на Умпо. Второй — на мальчишку Марры. Я его не узнал. Я его просто не достал ростом.

И дальше:

— Я всю жизнь умел одно. Я умею взять человека в темноте. А сегодня оказалось, что там, где я живу, это умение работает против меня, потому что тут в темноте все свои.

И ещё одно, чего я не собирался говорить и сказал.

— Того, у сарая, я не хотел убивать. Я его вёл живым. Я помнил про Умпо и думал, что живой он стоит дороже. А он споткнулся о нашу же кладку.

Она не стала меня утешать.

— И что теперь.

— Теперь ограда. И в ограде одна дыра, и ночью её закрывают, и всякий, кто внутри, — свой.

Она подумала над этим и сказала, что это хорошо.

А потом сказала своё, и её оказалось конкретнее моего.

— Я стояла у входа с ней на руках и не знала, куда идти.

Она сказала: у меня на руках ребёнок, и у меня горит вниз по склону, и наверху тропа, и я не знаю, куда мне — вниз к воде, где вас всех слышно, или вверх, где темно, или стоять. Я простояла у входа, пока не прибежал Умпо и не сказал идти вниз. Умпо. Мальчишка, который у нас четыре месяца и которого вы взяли в драке.

— Место есть. Под скалой, у посуды. Там камень над головой, и там Насса.

— Оно есть у тебя в голове. — Она переложила Тавву. — Скажи его вслух при всех. И скажи два раза. И заставь их сходить туда ногами, всех, с детьми, днём, чтобы они прошли этот путь до того, как пройдут его ночью. И поставь при нём двоих, потому что Насса сегодня звала и не дозволась.

Я сказал, что плита у Стола тоже была придумана летом и что она не помогла.

— Помогла. Пессо вышел пустой.

— И остался без зимы.

— И получил своё из общего. Завтра об этом будет знать весь берег. Но не жди, что в следующий раз все сразу поймут, куда идти. — Она помолчала. — Это не значит, что плита плохая. Это значит, что одной плиты мало.

Мы так и сделали через день, и первый раз вышло скверно: дошли за время, за какое можно было дойти дважды, потеряли двоих детей, которые побежали за матерями не в ту сторону, и одна старуха отказалась идти вовсе и сказала, что она в своём доме и останется.

Второй раз, в декабре, вышло лучше.

Жердь я дотесал за полночь и вставил, и она встала криво.

Тисса посмотрела на этот перекосяк и сказала, что теперь шкура будет собирать воду и лить на порог.

— Переделаю завтра.

— Не переделаешь. Ты завтра будешь на ограде.

— Тогда пусть висит криво.

— Пусть.

Потом она перелезла через меня к корзине: Тавва завозилась, и я лежал и слушал, как она её перекладывает, и как та сопит, и как снаружи, у чёрного пятна на месте сарая, кто-то ходит и переговаривается: там всю ночь с третьего по четвёртое дежурили двое: зола ещё тлела и ветер мог поднять искру.

Одним из этих двоих был Лаппо, который сам попросился и которого никто не гнал.

Глава 8 "Дождь в доме"

Глава 8. Дождь в доме

Крыша у нас потекла в ночь на одиннадцатое декабря, и потекла она не в том месте, которое я проверял.

К декабрю на площадке стояло одиннадцать домов и четырнадцать навесов.

Дом у нас считался домом, если у него было каменное основание в два ряда, стены насухо в полтора локтя высотой, жерди, тростник и очаг внутри; всё остальное было навесом, и навесы к зиме обкладывали с внешней стороны камнем, как советовала старуха из дома Тавы, и обкладка эта съела у нас три недели ноября и не дала ничего, кроме тепла, которого не видно.

Наш дом Санно поставил ещё летом, третьим.

В ноябре мы взялись переделывать кровлю перед зимой, и я пришёл к нему с расчётом связок.

Тростник мы резали в мочажине с двадцать пятого ноября, когда стало ясно, что весь запас у нас сгорел вместе с сараем.

Резали его вшестером, носили наверх в связках по восемь, и одна связка — это полшага кровли, и это я знал точно, потому что считал их каждый вечер, как считаю всё.

На одиннадцать домов и на перекрытие прохода у меня выходило триста двадцать связок, а резали мы в день шестнадцать, и в мочажине после дождей стояла вода по колено, и люди возвращались оттуда синие.

И тогда я сделал то, что делает всякий, у кого не сходится: я сэкономил на том, чего не видно.

Я положил скат положе.

Санно сказал мне про уклон один раз, в ноябре, стоя у нашего дома с жердью в руках, и сказал он это коротко: на ладонь в шаг вода стоит, на две — идёт. Я ответил, что на две уходит на треть связок больше, а у меня тростник в воде по колено и люди без башмаков, и он пожал плечами и положил, как я сказал, потому что дом был мой.

Одиннадцатого в третьем часу ночи мне на лицо упала вода.

Не капля — вода: на плоском скате, там, где две связки легли внахлёст не в ту сторону, за вечер набралась ложбина, ложбина размокла, и через неё сошло разом столько, сколько я потом вынес из дома двумя горшками.

Тисса встала раньше меня.

Она вытащила Тавву из корзины, перенесла корзину к левой стене, поставила её на два плоских камня, накрыла циновкой домиком и только после этого сказала мне, что я лежу в воде.

Я сказал: вижу.

Она сказала: ты лежишь в ней третью минуту.

Я вылез наружу с тряпкой и с плоским камнем, и в этом было ровно столько смысла, сколько бывает в любом ночном ремонте.

Дождь шёл мелкий и косой, тот самый декабрьский, который не идёт, а стоит; я залез на кладку, нашёл ложбину рукой, потому что видно не было ничего, прижал тряпку камнем и слез.

В доме стало капать в двух новых местах.

Вода, которую я согнал с ложбины, ушла под связки и пошла по жердям вбок, и к утру у нас текло над очагом, над постелью и над той стеной, где стояла корзина с ребёнком, и Тисса перенесла корзину в третий раз, и в третий раз она ничего мне не сказала, и это было хуже всего.

Утром я собирался на ограду.

У нас на ограде с третьего ноября шла своя очередь: южную треть Санно клал с людьми на серый слой, среднюю мы довели до второго ряда и бросили до весны, северную закрыли

плетнём с колючкой, а в колене стояла створка, и к створке я собирался в то утро ставить второй брус, потому что первый ходил в гнёздах и его било ветром всю ночь.

Я сказал это вслух, натягивая мокрое.

Тисса стояла у очага, который не разгорался, потому что тяга шла не вверх, а в дыру, и дым лежал в доме на высоте моего плеча.

Она сказала: ты сегодня на крыше.

Я сказал: у меня в колене брус ходит.

Она сказала: у меня в доме ребёнок за одну ночь спал в трёх разных местах, и в четвёртое я её уже не понесу, потому что четвёртого места нет.

Мы проспорили ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы услышать себя.

Я сказал: если ночью тронут створку, я потеряю поселение.

Она спросила: а если ребёнок к весне сляжет, что ты потеряешь?

Я сказал, что брус можно поставить за половину дня.

Она сказала: поставь его вечером.

И я поставил его вечером, при огне, вдвоём с Кисто, и это вышло хуже, чем вышло бы днём, и второе гнездо мы разбили и заложили заново, и я до сих пор считаю, что она была права, а гнездо — моя вина, а не её.

Крышу мы раскрывали вдвоём с самого утра.

Раскрывать оказалось вчетверо быстрее, чем крыть: мокрые связки идут вниз сами, стоит выбить из-под них прижимную жердь, и через час у нас над головой было небо, а в доме — вся наша жизнь под двумя циновками и перевёрнутым корытом.

Санно пришёл к середине дня.

Он обошёл дом снаружи, посмотрел на голые жерди, влез, потрогал конёк, слез и не сказал ничего.

Я сказал: скажи.

Он сказал: я уже говорил.

Я сказал: скажи ещё раз, мне полезно.

Он сказал: на ладонь в шаг вода стоит, на две — идёт.

Мы подняли конёк на две ладони, и это стоило нам двух новых жердей, семнадцати связок сверж счёта и полутора дней.

Жерди вытесал Санно; тесал он их у себя, под навесом, и принёс обе на плече, и по дороге обе намокли, и одну потом повело.

Семнадцать связок я взял из запаса, отложенного на дом Марры, и Марра об этом узнала в тот же вечер, и сказала мне, что это уже второй раз, когда её крыша уходит на моё дело; первый был третьего ноября, когда я сорвал ей кровлю, чтобы не занялся весь нижний ряд.

Я сказал, что ей поставят следующей.

Она сказала: ты это уже говорил.

Кончили мы к темноте двенадцатого, мокрые до нитки и злые, и последнюю связку я уронил себе на голову, и с неё мне за шиворот сошло столько воды, сколько я за весь день вынес из дома.

Тисса села на камень у входа и засмеялась.

Она смеялась долго, с той самой хрипотцой, которая у неё появлялась от усталости, и смеялась она не над связкой, а над тем, как я стоял: с мокрой головой, с тростником на плечах, с поднятыми руками, в которых уже ничего не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.